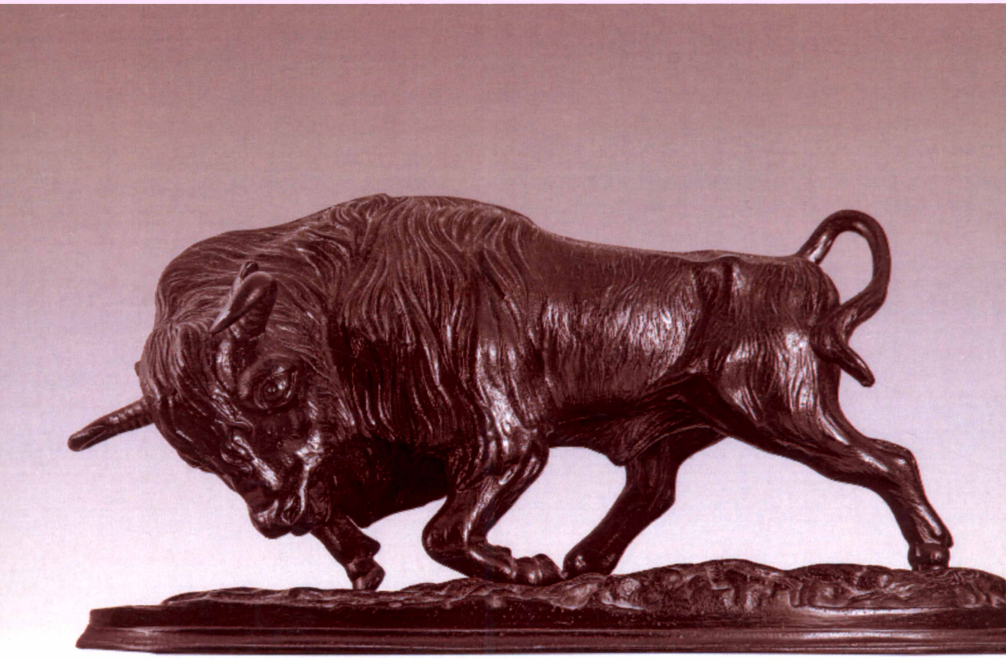


Гранинский альманах

Фонд сохранения и популяризации
наследия Даниила Гранина

Гранинский альманах

Выпуск 2

Росток
Санкт-Петербург
2023

КОМИТЕТ
ПО КУЛЬТУРЕ
САНКТ–
ПЕТЕРБУРГА

Издание выпущено при поддержке
Комитета по культуре Санкт-Петербурга

Благодарим за помощь в работе:
Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга — *Людмилу Игоревну Николаеву*, директора;
Егора Михайловича Кривду, главного хранителя фондов;
Ольгу Владимировну Попович, заведующую отделом использования документов, и *Наталию Леонидовну Рахманову*

Редколлегия:
М. Д. Чернышева-Гранина, И. А. Снеговая,
М. В. Петрова, М. Н. Толстой

Гранинский альманах: Выпуск 2. — СПб.: ООО «Издательство “Росток”», 2023. — 176 с.

Публикуемые материалы будут интересны и полезны научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам гуманитарных специальностей, краеведам, а также всем читателям, кто интересуется сложной и драматичной судьбой нашей страны.

ISBN 978-5-94668-399-9

9 785946 683999

© Фонд сохранения и популяризации наследия Даниила Гранина, 2023
© Коллектив авторов, 2023
© ООО «Издательство “Росток”», 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Зубр

М. Д. Чернышева-Гранина. Воспитывать нравственность 7
Р. М. Майорова. История знакомства, рассказанная женой писателя 9
М. Д. Чернышева-Гранина. Как писался «Зубр» 21
Н. Першина. Воспоминания 25
М. Д. Чернышева-Гранина. Великий ученый Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский 27
А. И. Лютер. Беседа с Ольгой Ивановной Патрушевой 33
М. Д. Чернышева-Гранина. Что такое «закрытые города» 44
В. Н. Ананийчук. Секретная миссия 46
Даниил Гранин. Выступление в городе Снежинск, сентябрь 1987 года 50
Даниил Гранин. Огромный человек 65

Герои и прототипы

М. Д. Чернышева-Гранина. Круиз вокруг Европы 71
Константин Паустовский. Европейский дневник 74
Даниил Гранин. Чужой дневник 91
Леонид Рахманов. Путешествие с Паустовским 123
И. А. Снеговая. «...я просто жила» 146
М. Д. Чернышева-Гранина. Эмигрантка 160
И. А. Снеговая. Лидия Делекторская — прототип Лизы Кислых в романе Даниила Гранина «Картина» 163
М. Я. Мурина. Она подарила России Матисса, а Франции — Паустовского 172

Зубр

✧✧✧✧✧

М. Д. Чернышева-Гранина

ВОСПИТЫВАТЬ НРАВСТВЕННОСТЬ

Как воспитывать нравственность, неизвестно. Каковы пути к ней, к нравственности, тем более неизвестно. Здесь все годится и ничего не гарантирует успех. На что опирается нравственность, каковы ее истоки? Религии нет, совесть? Но как пробудить ее? Совесть не результат обучения, ее не вычитаешь, не выработаешь упражнениями или беседами. А как помешать ее атрофии, если нет к ней серьезных требований, если нет таких ситуаций, когда необходим нравственный выбор, трагический, с риском, с жертвами? Если ничего этого нет, тогда как? Тогда выступает искусство. Оно дает возможность передать с героем нравственные коллизии, поиски, муки. Читатель вовлекается в страдание. Сердце его пробивается, происходит очищение.

Все произведения искусства делятся на две группы — *пробуждающие совесть* и *убаюкивающие ее*. Например, романы Достоевского так бесстрашно рассматривают духовные страдания, что роль их в нравственном формировании человека несомненна. Документальная литература действует как опора выдуманному миру художественной литературы. Она связана с реальностью, это сигнал, по которому сверяют часы. Она убеждает достоверностью.

Гранин Д. А.[1]

Где-то в конце 1960-х папа стал тяготиться необходимостью придумывать героев, сюжет, некие ситуации. У него возникали столь сложные отношения с героями, что он переста-

[1] Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной.

вал получать удовольствие от работы. Они его не слушались, мешали сюжету, все норовили что-то выкинуть. Он говорил: «Я от них устаю». А в это время его окружают удивительные люди. Необыкновенная судьба, интересные идеи, непривычное отношение к жизни и окружающим. Из таких людей и был Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.[2] История этого человека, знакомства с ним, история написания книги «Зубр» и истории, связанные с жизнью самой книги — об этом второй Гранинский альманах.

После выхода «Зубра» интерес к фигуре ученого вырос необыкновенно. Печатались, книги, воспоминания самого Тимофеева-Ресовского, снимались фильмы. И мне показалось интересным рассказать, как писалась книга, как формировался у общества образ этого удивительного человека. Рассказать о людях, которые участвовали в появлении этой повести. Прежде всего мне хотелось бы представить мамины записи об истории знакомства с Тимофеевыми. Я специально не правила мамин рассказ, пытаясь сохранить его нелитературность, безыскусность, что, на мой взгляд, сохраняет атмосферу того времени.

✧✧✧✧✧

[2] *Тимофеев-Ресовский Николай Владимирович* (1900—1981) — биолог, генетик, основоположник радиационной генетики и радиобиологии. Право на ношение Н. В. Тимофеевым-Ресовским двойной фамилии закреплено указом Сената от 19 июля 1908 г. Связано это с тем, что у дворянского семейства Ресовских не было сыновей, и глава семьи получил разрешение на то, чтобы при женитьбе на его дочери её дети имели право прибавлять к фамилии отца фамилию своих предков (цит. по: *Тимофеев-Ресовский Н.* Воспоминания. М., 1995. С. 19).

Р. М. Майорова

ИСТОРИЯ ЗНАКОМСТВА, РАССКАЗАННАЯ ЖЕНОЙ ПИСАТЕЛЯ

Спустя двадцать лет в своём беспорядочном архиве я обнаружил запись, сделанную моей покойной женой. В сущности, это предыстория написания повести «Зубр». В своё время (1987—1989 гг.) она вызвала живой интерес читателей и острую полемику, а то и разносную критику в печати.

Запись моей жены показалась мне любопытной в смысле характерных для того времени обстоятельств литературной работы, а кроме того, она, автор, рассказывает драгоценные подробности о самом Тимофееве-Ресовском и обстоятельствах его удивительной жизни.

Гранин Д. А.[1]

Задумав писать о Николае Владимировиче Тимофееве-Ресовском, Даниил Александрович стоял перед тяжёлой задачей сбора материалов о нём и, главное, зная его судьбу изложить её так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы, а главное, не была бы нарушена правда истории.

Мы были знакомы и, я даже смею сказать, дружили с Еленой Александровной и Николаем Владимировичем с середины 1960-х годов, когда он впервые, свободный, приехал в Ленинградский университет с чтением лекций. Однажды он выступал в Доме Писателей, я не была на этом выступлении, а была дома, и вдруг приходит часов в 11 вечера Даниил Александрович с толпой людей (это было зимой) — шубы, шапки, шум. Стол... и, наконец, тишина. Я имени его не знала, слышу громовой, рокочущий голос, перекрывший всех, и рассказ необыкновенной силы и странности. Видеть перед

[1] Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной.

собой этих людей, вырвавшихся из судьбы, которую, кажется, и перенести нельзя. А уж быть таким жизнерадостным, властным, сильным — в это и поверить невозможно. На предложение о салате он отвечал: «этот силос я не ем», а чай чёрный и холодный заваривал сам.

Мы полюбили их. Мы были сравнительно молодые, а такие уникумы попадались впервые. Они были естественные люди — без наигранности и фальши. И сразу нас завоевали.

С тех пор они часто приезжали в Ленинград и каждый раз бывали у нас, а мы бывали у Анны Бенедиктовны Гецевой,[2] где всегда останавливались Елена Александровна и Николай Владимирович. Там всегда были широкие приёмы биологов, и было очень интересно наблюдать, как Николай Владимирович немедленно становился центром и по рассказам, и по проблемам. Нашей дочке, которая собиралась поступать на биофак ЛГУ, он говорил: «Это всё ерунда ваша биофизика и биохимия. ДН-какать и РН-какать каждый может. Надо быть общим зоологом, или мокрым...». Все хохотали, т. к. в те годы биофизика только начиналась. Волькенштейн был ещё в Ленинграде и хвастливо распространялся о своих работах. Только потом, через 20 лет, стало ясно, как был прав Николай Владимирович. Был однажды в Ленинграде симпозиум биологов. Приехало много учёных из других городов и даже стран — из ГДР Ганс Штубе, из Швеции Густавсон, многие из Новосибирска. У нас было большое сборище — из писателей были Данин, из физиков Флеров. В это время модный спор физики и лирики занимал все площадки. За столом это жарко обсуждалось. Один раз Тимофе-

[2] *Гецева Анна Бенедиктовна* (1909—1992) — кандидат биологических наук, гидробиолог, энтомолог; уроженка города Бобруйска (Белоруссия), родилась в семье врачей. Семья вскоре переехала в Ленинград, где Анна Бенедиктовна получила высшее образование — окончила консерваторию, затем Ленинградский государственный университет, биолого-почвенный факультет. Всю жизнь проработала в биологической лаборатории — сначала в Институте физической культуры имени П. Ф. Лесгафта, затем в Зоологическом институте АН СССР. Объекты её исследований — саранча и божьи коровки. В конце 1950-х командирована в Миассово, в лабораторию к Тимофееву-Ресовскому. С этого времени начинается её дружба с этой семьей.

евы приехали, и Николай Владимирович заболел воспалением лёгких. Пришлось лечь в больницу. Мы все по очереди ходили ему читать, т. к. Елена Александровна очень уставала. А ведь Николай Владимирович после лагеря ничего не видел. Читать сам не мог и все его научные работы, и статьи, и литературу читала Елена Александровна.

В конце 1968 года мы — я, Даниил Александрович и Марина — поехали в Обнинск встречать новый 1969 год. Там мы отмечали 50-летие Даниила Александровича. Мы поместились в гостинице, кстати, недалеко от тимофеевской Солнечной улицы, где они жили.

Вечером к ним пришла масса народу, все его ученики — Влад Ильич Иванов, Жорес Медведев, Коля Глотов, Женя Рейснер, Кашкин и много других, кого я уже не помню. Все с женами и пирогами. Было очень весело, Николай Владимирович весел, возбужден. Заводил пластинки с хоровым пением и каждый раз рассказывал все новые истории.

Наутро мы снова пришли к ним. Елена Александровна показывала мне Кимберовскую медаль[3] — и золотую, и бронзовую копию.[4] По правилам золотой вариант принято держать в банке. Потом фотографии, молодые и разные. Она

---

[3] Кимберовская премия (Kimber Genetics Award) —награда Национальной академии наук США, аналог Нобелевской премии в области генетики; учреждена американским меценатом Джоном Эвансом Кимбером в 1955 г. и вручалась ежегодно с 1955 по 1967 г., после чего была упразднена. Н. В. Тимофеев-Ресовский — тринадцатый лауреат Кимберовской премии (1966).

[4] Церемония награждения состоялась 31 марта 1967 г. в кабинете президента АМН СССР академика хирурга-онколога Н. Н. Блохина, который являлся президентом общества «СССР — США». На следующий день, 1 апреля 1967 г., в «Комсомольской правде» на первой странице появилось сообщение о заседании президиума АМН СССР, озаглавленное «Главная премия по генетике — советскому ученому». Большой очерк о Тимофееве-Ресовском опубликовал в журнале «Природа» академик Б. Л. Астауров, была напечатана фотография с церемонии вручения. Фотопортрет Н. В. Тимофеева-Ресовского появился на обложке журнала «Огонек» № 4 (2127), март 1968 г. (см.: *Куликов С. Н., Добразова Д. А.* Н. В. Тимофеев-Ресовский в галерее лауреатов Кимберовской премии за выдающийся вклад в генетику // История и современное мировоззрение. 2019. Т. 1. № 3. С. 92)

была удивительной красавицей, тонкой, хрупкой, хотя и довольно высокой.

Елена Александровна рассказывала мне о своих молодых годах и о встречах с Николаем Владимировичем и всей их последующей жизни. Тяжёлым ударом была для них, конечно, гибель их сына Фомы. Елена Александровна долго не могла в это поверить. На каждый звонок в дверь, где бы они ни были, бежала с надеждой. Как они жили на объекте, как прикрепленный к ним солдат всюду ходил с ними и должен был ездить в Свердловск на занятия в университет с их сыном Андреем. А когда Андрей ходил на вечера, он тоже шел с ним, и даже провожать девушку тоже плёлся сзади. Но он был очень славный и понимал, что они никуда не денутся, но выполнял свою службу. Один раз они все трое и этот солдат поехали в универмаг и там бродили и потерялись, Николай Владимирович бегал по универмагу и разыскивал его.

Жили они в Обнинске скромно. Маленькая квартира и никаких лишних вещей.

В 1970 году наша дочка поехала в командировку в Обнинск и Москву. В Обнинске гостиница была занята спортсменами, и некуда было идти, и она жила в квартире Тимофеевых, которые в это время куда-то уехали, а научный сотрудник Кашкин дал ключ.

Когда они приезжали в Ленинград, мы зазывали к нам наших друзей, чтобы познакомить их с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной.

Елена Александровна любила театр и концерты, а Николай Владимирович был счастлив, если мог не пойти. Все годы летом они вдвоем ездили на пароходе по рекам России, и по Сибири, и по Волге, и по Северу. Всегда после путешествия заезжали в Ленинград. И когда мы встречались, Николай Владимирович с болью говорил о реках, затянутых ряской, и о мертвой рыбе.

Даниил Александрович несколько раз записывал Николая Владимировича на плёнку, его рассказы, начиная с ранних лет знакомства. Но все же Даниил Александрович тогда полностью не понимал, с каким редким человеком свела его

судьба. Только последние годы он стал записывать всё, что Николай Владимирович говорил.

Когда мы приехали из Обнинска, то с Даниилом Александровичем случилась неприятность — он сломал ногу и лежал в больнице в Сестрорецке. Я каждый день ездила к нему, и он диктовал мне все, что запомнил из той недели в Обнинске, что мы были у них.

В 1974 году мы получили печальную телеграмму о кончине Елены Александровны. Это было на Пасху. 1-й день Пасхи у них обедали все друзья. Когда все разошлись и посуда была вымыта, Елена Владимировна сказала: «Колюша, что-то я плохо себя чувствую». Он сказал: «Наверно, объелась». Но через некоторое время он тоже почувствовал серьезность и вызвал «скорую», но было поздно.

Мы получили телеграмму: в такой-то день и час скончалась Елена Александровна Тимофеева-Ресовская.

Я не думала, что Николай Владимирович проживет без Елены Александровны ещё 10 лет.

Влад Ильич Иванов трогательно, с необыкновенной любовью относился к Николаю Владимировичу. Через некоторое время Николай Владимирович стал работать в Москве у Газенко,[5] ездил в Москву редко, и когда некоторые сотрудники заявляли, что почему он не ходит на работу, то Газенко отвечал: «Я вас пятерых уволю за него одного».

Из Обнинска уезжать не хотел — здесь могила и родные детству земли — калуцкие, как он говорил. В летний отпуск он по-прежнему ездил на пароходе с Владом Ильичом и заезжал в Ленинград. Мы тогда опять, как и прежде, приходили к Анне Бенедиктовне, и он, немного подряхлевший, но всё такой же могучий, рассказывал, что видели в поездке, и всё больше звучала его боль об испорченной воде. Николай Владимирович рассказывал, как он болел и лежал в больнице в Обнинске. Палата была отдельная, лечебную физкультуру

[5] *Газенко Олег Георгиевич* (1918—2007) — физиолог, врач, с 1955 г. занимался космической биологией, основоположник космической медицины, академик АН СССР (1976). С 1969 г. директор Институт медико-биологических проблем РАН, где последние годы работал Н. В. Тимофеев-Ресовский.

он считал «ерундистикой», но потом уступил врачихе, которая ему была симпатична, и начал понемножку поправляться и ходить и крайне сам был этому удивлен.

В 1983 году Николай Владимирович умер — не знаю, почему мы не поехали на похороны. Теперь жалею. А Даниил Александрович вообще боится и избегает похорон. Сейчас, наверное, тоже жалеет, я не спрашивала.

Через некоторое время после смерти Николая Владимировича Гранин в Москве узнал, что Шноль (биолог)[6] записывал Николая Владимировича на магнитофон, так что, кроме плёнок Даниила Александровича, имелось ещё более 30 плёнок с рассказами Николая Владимировича.

Даниил Александрович поехал в Москву и сидел неделю в Пущино, у Шноля, прослушивая и переписывая плёнки.

После этого он засел за работу. Сложность личности и биографии Тимофеева-Ресовского не давала уверенности, что может получиться стройное, доступное для нашей печати произведение. Но время не ждало. Пока были живы люди из окружения Николая Владимировича и на Урале, и в Москве, и даже в Берлине, надо было торопиться. Даниил Александрович уже был весь в этом. В доме все время гремел голос Николая Владимировича (это было так странно, я в кухне вздрагивала и бежала в кабинет). А Даниил Александрович всё слушал его голос, его рассказы. Довольно тяжёлый был этап сбора материалов от бывших друзей и коллег Николая Владимировича. Даниил Александрович часто бывал в Москве, виделся с семьей Реформатских (подруга Елены Александровны, и её дети также горячо болели за эту работу Даниила Александровича). Семья Николая Николаевича Воронцова, его жена Ляля (дочь Ляпунова, известного математика и друга Николая Владимировича). Это и все биологи, бывавшие у Николая Владимировича в Миассове и дружившие с ним и Еленой Александровной, Влад Ильич Иванов

[6] *Шноль Симон Эльевич (Эмильевич)* (1930—2021) — советский биофизик, историк науки, профессор кафедры биофизики Московского государственного университета, доктор биологических наук (1970). Последнее время заведовал лабораторией физической биохимии в Институте теоретической и экспериментальной биофизики в Пущино.

с женой Таней, жившие с ними в Обнинске, и были им близки, как родные дети.

Кроме того, много ученых, соприкасавшихся с Николаем Владимировичем по науке. С этими Даниил Александрович виделся и записывал их рассказы. Валерий Иванов (ныне доктор биологических наук, а в то время студент) бывал много лет подряд летом у Николая Владимировича в Миассове на Урале. Он приезжал к нам в Комарово на дачу специально, и Даниил Александрович также записал его воспоминания о Николае Владимировиче.

Анна Бенедиктовна Гецова, добрый гений их ленинградского пребывания, много помогала Даниилу Александровичу и знакомила его со многими биологами, знавшими Николая Владимировича.

Этот период как бы освещался хорошо ещё и личным нашим знакомством.

Но были в рассказах Николая Владимировича и Елены Александровны ещё и люди, с которыми они жили в Германии и которые были очень важны для освещения той самой тяжелой поры их жизни — работы в Кайзер-Вильгельм институте. Это были Игорь Борисович Паншин — биолог, проживающий в Норильске, человек, которому Николай Владимирович помог спастись в Берлине в самые тяжёлые годы гитлеризма. Его письма — это душераздирающий роман, который я не буду повторять (они есть в книге).

Кроме того, муж и жена Варшавские, тоже биологи, угнанные из Ростова-на-Дону, также были спасены Николаем Владимировичем (их письма тоже есть). Я свидетель того, как остро, резко и горячо Даниил Александрович разговаривал и с тем и с другой, доказывая необходимость и просто их святую обязанность написать об этом ради памяти о Николае Владимировиче. Я не знаю, откуда брались слова у Даниила Александровича, когда тысячекилометровые расстояния от Норильска не мешали ему настойчиво требовать их писем или приезда. «Это дело чести каждого, кто хоть как-то был причастен к этой великой жизни».

Варшавский, переживший плен, угон к немцам и спасенье чудом, не хотел вспоминать всего этого, весь в страхе,

устроившийся после войны в Саратове с женой, боялись всего, и где-то тайно боявшийся Гранина, который, может быть, выставит Тимофеева плохим. Всё же и он дрогнул и тоже написал свои письма. Но этих звонков было много, они обещали, но не сдерживали слова, и снова звонки, снова обещания. Единственный, кто сразу ответил и прислал много милейших писем, был художник Олег Цингер[7] из Парижа. Он тогда был молод и помнил всё хорошо. Был с ними до окончания войны, а затем уехал на Запад. Цингер прислал очаровательные художественно оформленные письма.

Потом был мучительный период самого писания вещи, нехватка материала мешала, задерживала, он злился.

Я писала по-немецки в Центральный архив ГДР с запросом о сыне Николая Владимировича Фоме (Дмитрии), они ответили, но переадресовали в Вену, а Вена в Париж, где архив Маутхаузен.

Всё это осталось в наших архивах.

Очень интересны розыски в Германии одного русского биолога и немецкого физика Ромпе, но это Даниил Александрович подробно описывает в книге.

Трудности самые большие, которые, в общем-то, не удалось преодолеть, — это жизнь Николая Владимировича в лагере. Он сидел вместе с Солженицыным. И после войны встречались, пока Солженицын жил где-то в Калуге. В лагере была непосильная работа и общество священников, которое окружало Николая Владимировича, и воров, которые любили его слушать. Но самое страшное для его могучего тела был голод, и от голода он заболел пеллагрой и уже доходил, когда его разыскали по указу Завенягина и Курчатова. Везли сначала на санях (дело было зимой), потом в спальном вагоне. Охраняли, купе отдельное. Кормили. Он думал, что умер. Привезли в Москву, это он не помнит, смешно расска-

[7] *Цингер Олег Александрович* (1910—1997) — немецкий художник, карикатурист. Сын друга Тимофеевых-Ресовских, Цингера Александра Васильевича (1870—1934) — физика, автора знаменитого школьного учебника физики. Цингер О. А. рисовал животных, которых очень любил; тесно общался с Тимофеевыми-Ресовскими в Берлине. Ученик Ватагина Василия Алексеевича (1883—1969) — графика, скульптора-анималиста, народного художника РСФСР (1964).

зывал про медперсонал этой привилегированной больницы, как они боялись, чтобы он не умер. Начальник даже спал рядом в комнате.

Когда стал ходить понемногу, то повезли в магазин и одели по первому классу. И только тогда отвезли на Урал, так сказать, на объект. Куда и приехали к нему его немцы.

Подробности лагеря были в записях магнитофонных, но Даниил Александрович не стал на это акцентировать.

Среди сотрудников Николая Владимировича был Лучник Николай Викторович, ныне живущий в Обнинске и явно не желавший встретиться с Даниилом Александровичем. Даниил Александрович предлагал ему, что может приехать в Обнинск, но без него сведения будут неполны. В конце концов, в декабре 1985 года, во время Съезда писателей РСФСР Даниил Александрович звонил Лучнику домой, и он согласился приехать к нам в гостиницу. Многие, кто называли Лучника, всегда говорили, что он был с Николаем Владимировичем в враждебных отношениях. Хотя Николай Владимирович считал его способным человеком. Он стал доктором наук. Остался постоянно в Обнинском институте. Приехав, он прежде всего попросил Даниила Александровича, чтобы его имя не называлось в книге. Даниил Александрович это ему обещал. Была сделана запись на плёнку.

Когда Даниил Александрович закончил повесть и отдал её в журнал «Новый мир», её читала редколлегия и было назначено печатать повесть в номерах № 1 и № 2 за 1987 год.

Летом 1986 года Даниил Александрович работал с редактором в Москве, встречался с назначенными консультантами В. И. Ивановым и Н. Н. Воронцовым. Много мелочей было исправлено.

Звонили и поздравляли прочитавшие рукопись доктор Блюменфельд, член-кор<респондент> Волькенштейн, Анна Бенедиктовна.

Но однажды позвонила редактор Лера Озерова и сказала, что пришли двое молодых людей в редакцию и заявили, что стало известно, что в повести Гранина «Зубр» оболгали и унизили известного ученого Лучника. В этот же день звонили Залыгину (главному редактору «Нового мира» в то

время) из горкома партии города Обнинска и говорили о том же. Мало того, «всё перешло за рамки Лучника», и они целиком перешли на личность Николая Владимировича.

Эта женщина из Обнинска звонила в управление культурой.

Зачем это было делать? Сегодня это совсем не к лицу. Человек уже в словарях и энциклопедиях. Но сын на это мне сказал: «Папа тут ни при чем!» Эти двое были сыновья Лучника — один Андрей, биолог, даже доктор наук. Они требовали, чтобы им дали читать повесть Гранина. Их направили к автору.

Вечером раздался звонок из Москвы. Это был Лучник № 1, который утверждал, что он знает, что Даниил Александрович вывел его отца — известного ученого — в плохом свете. Даниил Александрович не стал с ним говорить, и он назавтра приехал в Ленинград и встретился с Даниилом Александровичем в Союзе писателей. Разговор состоялся, из чего можно выяснить, что этот Лучник боится за свою карьеру, т. к. он выездной и боится себе повредить. В тот день он уехал, а затем в «Новый мир» к Залыгину явились Лучник № 2 и профессор Георгиев, заместитель директора Института микробиологии. Залыгин звонил Даниилу Александровичу и рассказал, что этот профессор принёс бумагу на бланке института с ходатайством о чистоте того Лучника.

Залыгин сказал, что разберётся, но читать рукопись не даст.

Даниил Александрович позвонил Коле Воронцову, и он, крайне удивляясь, сказал, что Георгиев — тесть Андрея Лучника. Тут уж полный отпад. Уважающие себя и уважаемые всеми люди идут на такие ложные шаги. Георгиев, известный в биологической среде учёный, идёт со своим зятем будто бы от имени института к главному редактору журнала, что Гранин оклеветал такого известного учёного. Что же он думал, что это никто не узнает? Кроме того, звонки в ЦК, и из ЦК тоже звонили Залыгину. Он ответил, что они разбираются. ЦК сказали: «Смотрите сами!»

Будучи в Ленинграде, Андрей Лучник был у профессора Николая Васильевича Глотова, бывшего своего учителя по Московскому университету, и просил его позвонить Гранину.

Коля Глотов, которого мы знали ещё в Обнинске как ученика Тимофеева-Ресовского, теперь профессор генетики Ленинградского университета. Он позвонил нам и говорил Даниилу Александровичу о том, что Андрей Лучник способный биолог и он знал его отца. Даниил Александрович пригласил Глотова к нам, и он пришёл в субботу 21 декабря, и оказывается, что Лучник не сказал Глотову, что был с Георгиевым в редколлегии журнала и всё будто бы он знает, что у Даниила Александровича в повести, что Гранин обещал не называть его, а в действительности оклеветал.

Забавно, что Коля рассказал, что в давние времена работы на объекте Николай Владимирович тоже приволокнулся за девушкой, за которой ухаживал Николай Викторович Лучник. И будто бы у них была вражда из-за этого. Николай Владимирович, конечно, по словам Коли, никогда бы не оставил Елену Александровну, быстро остыл к этой девице, и Лучник женился на ней, но никогда этого не забывал. А Коля говорит, что характер Николая Владимировича в этом смысле был очень забывчив и не злопамятен. Он с такой же легкостью раздавал идеи, вместе писал, диктовал и... ухаживал. Это подтвердил и приехавший 23 декабря Н. Воронцов, который был у нас. Он очень обеспокоен за выход второго номера журнала, т. к. когда выйдет первый номер, который явно определит своего героя, и все живые лысенковцы, такие как Глущенко, поднимут голову и начнут выть, кого вы подымаете на щит — фашиста и т. д. Так что все тревожно.

Интересно рассказали, что на днях были выборы в Академию медицинских наук и баллотировался Лучник Николай Викторович. Выступил академик Збарский и сказал все слова «за» и среди всех похвал особо подчеркнул, что Лучник был учеником знаменитого нашего учёного Тимофеева-Ресовского. Но всё же он не прошел. Получил 5 голосов «за» из 60.

5/I — 87 г. звонил Н. Н. Воронцов с радостной вестью, что получил № 1 «Нового мира».

5/I — 87 г. звонил Владимир Ильич Иванов и сказал, что приходила Сокурова (которая живёт в Обнинске) и рассказала, что Лучник там поднимает шухер, что с ним не здоровается Волькенштейн, что все это из-за Гранина.

9/I – 87 г. пришла домой из магазина – новости. Звонили из «Нового мира», что цензура запретила печатанье второго номера, т. е. продолжение. Оказывается, дело в том, что в Комитете по атомной энергетике есть запрещение на появление в прессе информации о том, что немцы работали у нас на спецобъектах. И хотя эти немцы потом уехали на Запад, и все об этом знают, то всё равно в печати они всё вычеркивают. Опять волнение. Требуют вычеркнуть большие важные куски.

9/I – 87 г., 16:30 – разговор с цензором Солодиным – уверяет, что все сделали в лучшем виде. Теперь мы не знаем даже, что получилось. Кошмар!

«Есть воспоминания Риля и Циммера, они напечатаны в Западной Германии, ведь я это читал» (из разговора по телефону с Залыгиным). Все понимают, что это чепуха и никто не может изменить инструкцию. С ужасом ждём, что выйдет.

Вот как это было.

История выхода повести следующая: первый номер «Нового мира» вышел вовремя, с некоторым опозданием вышел второй номер журнала. Книга в твёрдом переплёте вышла в издательстве «Советский писатель» в 1987 году. Особые трудности совершенно неожиданно встретились при попытке издать книгу в ГДР. Текст был немедленно переведён на немецкий Эрихом Арндтом (Erich Ahrndt). Ещё в феврале 1987 года многие литераторы и переводчики выступали за публикацию повести, однако 15 тысяч напечатанных для книжной ярмарки в Лейпциге книг были арестованы, и «Зубр» оказался недоступен читателю в ГДР. Шла активная переписка между КГБ СССР и МГБ ГДР. И только 30 октября 1989 г. наконец-то директор издательства Юрген Гунер и Кристина Линкс, переводчик и друг Гранина, написали в Ленинград: «Дорогой Даниил Александрович! Наконец мы можем выслать Вам нашего Зубра! Разрешение выпустить его мы получили две недели назад <...> Мы надеемся, что Вы ещё находите в себе остатки радости появлению “Зубра” в ГДР». До объединения Германии оставались недели.

✧✧✧✧✧

М. Д. Чернышева-Гранина

КАК ПИСАЛСЯ «ЗУБР»

Письмо[1] Даниила Гранина Гребенщикову Игорю[2] в ГДР

24 июня 1984 года

Глубокоуважаемый Игорь Сергеевич!

Ещё раз хочу поблагодарить Вас за интереснейший разговор и время, которое Вы мне уделили. Конечно, все было слишком накоротке, однако теперь я знаю, как много и хорошо Вы помните, и у меня появилась немало вопросов. Я Вам их посылаю. Может быть, хотя бы на некоторые Вы согласились бы ответить. Я постарался сделать их поконкретнее. Если хоть что-то пригодится, буду рад. Любая деталь, любая подробность, фраза — все сгодится.

Всего Вам лучшего. Будьте здоровы!

1. Что за опыты по радиации над кроликами проводились?
2. Кто это Врангель, какое отношение он имеет к той фамилии? Почему он обрадовался, как точно называлась организация, где работал этот Врангель и куда Вы явились?
3. Как выглядела квартира Н. В.[3] в Бухе?
4. Откуда у Вас портрет Цингера, знали ли Вы его лично, что он за человек?
5. Чем Вы лично занимались в лаборатории Н. В.?
6. Что-нибудь о стиле работы Н. В. как научного руководителя, о семинарах, собеседованиях, которые он проводил.
7. Какие порядки существовали в Бухе?
8. Помните ли Вы те высказывания Н. В. об искусстве, которые вызывали споры, которые особо возмущали Вас?

---

[1] ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-107. Оп. 6. Д. 21. Л. 19—33.

[2] Гребенщиков Игорь — сотрудник Зубра в Германии.

[3] Здесь и далее Н. В. — Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

9. Относительно церковности Н. В. – связано ли это было с судьбой его сына, погибшего в гестапо, или через это выражалась тоска по родине? Я спрашиваю это, потому что здесь, дома особой церковности у Н. В. не было заметно, не проявлялась.

10. Может быть, Вы помните какие-то обстоятельства, связанные с историей ареста Фомы гитлеровцами и заключения, а потом и гибели сына Н. В.

Письмо[4] Даниила Гранина Гребенщикову Игорю в ГДР

10 сентября 1984 года

Уважаемый Игорь Сергеевич!

Благодарю Вас за присылку материалов. Не знаю, что у меня получится, но помощь Ваша неоценима. Я также получил материалы от профессора Штубе. Если увидите его, передайте мою сердечную признательность. Желаю Вам всяческого здоровья.

Ваш Гранин

Письмо[5] Даниила Гранина Олегу Цингеру в Париж

12 сентября 1984 года

Уважаемый Олег Александрович!

По правде говоря, получить столь быстро Ваш ответ было для меня неожиданно. Да и к тому же это не просто ответ, это то, о чем я мечтал. Вы написали превосходный очерк-воспоминание о Николай Владимировиче. Характер, как живой! Во всей его противоречивости, со всем обаянием, секрет которого определить трудно, а можно лишь изобразить, как это

[4] ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-107. Оп. 6. Д. 21. Л. 19–33.
[5] Там же.

Вы и сделали. Не могу не восхититься Вашей памятью на словечки и выражения Н. В., подробности игры в городки, подробности тимофеевских вечеров. А для писательского дела самое драгоценное — это подробности, детали, краски, то, чего нигде не вычитаешь, ни в каких биографиях. Когда-то Н. В. показывал Ваши письма к нему с прелестными рисунками. Несколько писем даже он мне подарил, и я бережно храню их и показываю в назидание, как образец эпистолярного искусства.

Не хочется, чтобы Вас это как-то смущало, ибо 1) письма эти абсолютно безобидные, чисто описательные и 2) они — явление искусства и жаль прятать их в архив. Впрочем, если ВЫ пожелаете, я отошлю их Вам.

Ваш очерк-воспоминание чрезвычайно пригодился мне. Я пишу что-то вроде повести о Н. В. Пока боюсь говорить, что получится, но написать надо. В его судьбе отразилось многое, и сам он сумел отразить многое, больше, чем другие. Он был замечательным русским учёным. Хотелось бы, чтобы имя его оценили по достоинству.

Буду очень рад, если Вам вспомнятся ещё какие-нибудь подробности той жизни, путешествий Н. В., его рассказы, да мало ли что. И независимо от этого спасибо Вам преогромное за милое, талантливое Ваше послание. И ещё за Вашу верность дружбе с Н. В.!

Сердечно Ваш, Д. Гранин

Письмо[6] Даниила Гранина в ГДР, в издательства Лео Кошуту и Юргену Гунару

Дорогие друзья!

Вы обладаете редкой в наше время привычкой, особенно для издателей, сообщать только приятные вещи. Как бы не сглазить! В нашей переписке нет ни одного письма, которое порушило бы мои надежды.

[6] Письмо написано приблизительно в это же время; даты на письме нет. ЦГАЛИ.

Что касаемо «Чужого дневника» и альманаха, то хорошо, что он Вам понравился, а уж когда бы ни вышел, всё будет добро. Насчёт новой работы не могу пока сообщить ничего определенного, идёт трудно.

С наилучшими пожеланиями и приветом всем друзьям,
Ваш Д. Гранин

Эти письма показывают, как сложна была работа по сбору информации о жизни, особенно в Германии.

Огромную роль в эмоциональной ткани книги сыграли друзья этого семейства. Их преданность, восхищение Николаем Владимировичем и Еленой Александровной, их рассказы не могли не отразиться на тексте книги. Воронцовы, Реформатские, Ляпуновы, милейшая Анна Бенедиктовна — они все бесстрашно любили и общались с Тимофеевыми. Появились Владимир Ильич Иванов, Коля Глотов. А ведь время было опасное и беспощадное! Родная сестра Н. В. не открыла дверь невестке Тимофеевых, что, конечно, нелегко было перенести Н. В. Я была потрясена, узнав, что Анна Бенедиктовна с Наташиным юным семейством жили в коммунальной квартире. И все наши весёлые сборища с пирогами, танцами, песнями были в коммунальной квартире! Папа с ними со всеми подружился, они, бывая в Ленинграде, всегда приходили в гости. Но дружеские контакты, я думаю, делали его писательскую работу ещё более трудной и ответственной. Эта была среда ученых. Они были папе интересны. Через Николая Владимировича он познакомился с генетиками, биологами: Раппапорт, Блюменфельд, Лобашов, Полянский и многие другие. И физики — Тамм, Флеров, Волькенштейн. И место в ней его героя было важно для автора.

✧✧✧✧✧

Н. Першина[1]

ВОСПОМИНАНИЯ

Моя мама стала уезжать на всё лето работать в Миассово, на научную базу в Ильменском заповеднике на Урале. Там, после тяжелейших военных мытарств, работали на объекте Николай Владимирович и Елена Александровна Тимофеевы-Ресовские. Вскоре объект был ликвидирован и на его месте создали научную базу, в лаборатории которой и ездила работать моя мама.

Лаборатория и домики сотрудников располагались на берегу огромного озера. Я училась тогда на втором курсе училища им. В. И. Мухиной в Ленинграде. Это был 1959 год. Туда же приезжали ребята из Московского университета, физики и математики из Новосибирска, из академгородка. Мне дали место в палатке, где располагались студенты. Утром, конечно, бежали на озеро, там встречали не только студентов, но и сотрудников. Была и мама с лаборанткой Галей, часто видели и Елену Александровну. Потом завтрак в столовой. Палаточный городок был огромный, более 100 палаток. В столовой дежурили по очереди, невзирая на чины. Я ходила с ребятами на занятия. Коллоквиумы часто проводились из-за жары прямо в озере. Такой коллоквиум и был моим первым впечатлением.

Нас встретили на вокзале — телега и какой-то мамин знакомый. Взвалили вещи, там было и что-то научное, меня отправили пешком. Лагерь был недалеко. Иду прямо, прямо и вдруг встаёт передо мной синее-синее озеро и какая-то девушка с указкой в руке в ярком купальнике, по колено в воде, увлеченно что-то рассказывает. Остальные — кто лежа, кто сидя в воде, во главе с Николаем Владимировичем внимательно её слушают. Перед ней стоит пюпитр с разложенными бумагами. Я остолбенела от такого зрелища. Так начался один из самых счастливых периодов моей жизни. Удивитель-

[1] Дочь Анны Бенедиктовны Гецевой, художница.

но, но я чувствовала себя рядом с этими физиками и математиками в своей среде. Не понимая, о чём велись эти споры, читались доклады, я в это время рисовала портреты докладчиков и тех, кто с ними не соглашался. Но после пересказа Николая Владимировича данной темы все становилось ясно не только мне, но всем многочисленным слушателям. Было интересно узнавать о космосе, о биологии, о влиянии космического излучения на жизнь на Земле. И я стала по-другому относиться к своим рисункам — они фиксировали эти изменения.

После ликвидации этого атомного объекта на лугах вокруг озера вырастали огромные цветы, буквально с человеческий рост. Это были ромашки, васильки, лютики. Я ходила между ними, как Дюймовочка. Ребята помогали мне их рвать. Я ставила их в ведра и с огромным удовольствием рисовала. К сожалению, Николая Владимировича рисовала очень мало, так, наброски. Не решалась. Этюды озера, берег, домики.

Праздновались дни рождения, читали стихи неведомых тогда авторов: Хлебникова, Саши Чёрного, Гумилёва. У нас в училище никто ими не интересовался, не читали, не знали. Как-то мы попросили наших поваров испечь большой пирог. Испекли замечательный пирог! Кричали: «спасибо, спасибо!» И когда я принесла обратно невымытые противни, услышала слова, запавшие мне в сердце на всю жизнь: «Как Вам не стыдно! Мы так старались, а Вы кусочка не принесли попробовать. А ведь из Москвы, из Ленинграда». Было стыдно, помню до сих пор.

Для меня пребывание в Миассово было школой жизни. О чем только не рассказывал там Николай Владимирович! Рассказывал о Павловой, об Улановой: «Как я не хотел, чтобы она в Бахчисарайском фонтане со сцены уходила». О выступлениях Шаляпина. Мы же все были малообразованные, и он, конечно, поражал всех своей культурой и памятью. Казалось, он знал всё. И хотелось быть таким, как он.

✧✧✧✧✧

М. Д. Чернышева-Гранина

ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ТИМОФЕЕВ-РЕСОВСКИЙ

Хотелось бы сказать несколько слов о Тимофееве-Ресовском как о великом русском ученом. Его научные идеи опережали свое время, и масштаб их был так велик, что понадобились десятилетия, чтобы стало понятно, куда эти направления ведут и как их развивать. Когда начались работы по генетике, где-то в 1920-е годы, то ещё не были сформулированы её законы, её основные понятия. И некоторое время одновременно развивались сама генетика и дисциплины, фундаментом которых она являлась. Повезло с объектом, который привез Меллер в Москву — дрозофила. Вот кому надо поставить памятник! И, уехав в Германию, Тимофеевы продолжали свои опыты, и результаты их исследований сразу же осваивались бурно развивающейся европейской генетикой.

Сегодня можно с уверенностью утверждать, что Н. В. — это один из основоположников радиоэкологии. И это не единственная дисциплина, основоположником которой он является. Приводим фрагменты докладов, представленных на международной конференции, посвященной 100-летию Тимофеева-Ресовского, которая проведена ЮНЕСКО в Дубне, в Институте ядерных исследований.

Из доклада Рудольфа Михайловича Алексахина, академика Российской академии сельскохозяйственных наук:

«Начало этих исследований было положено в 50-е годы, когда была заложена база радиоэкологической науки на Урале. Речь идет и о “шарашке”[1] в Сунгуле, где работали “зеки”,

[1] *Шарашка* — разговорное название научных лабораторий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро тюремного типа, подчинённых НКВД / МВД СССР, в которых работали осуждённые учёные, инженеры и техники.

и о почтовом ящике, в последующем известном как "Химкомбинат «Маяк»". Здесь находилась "альма матер" радиоэкологии. Сначала это была "Лаборатория «Б.»" (Сунгуль), где Н. В. начинал работы по радиоэкологии. Они опережали по замыслу аналогичные работы американских ядерных центров, где родилась и развивалась радиоэкология США — соперничавшая и шедшая, как говорится, "ноздря в ноздрю" с нашей отечественной радиоэкологией. Затем это был период Миассово, период, когда Н. В. был не допущен к исследованиям на Восточно-Уральском радиоактивном следе. К сожалению Н. В. не стал одним из научных руководителей и "шефов" "восточно-уральского следа" (Кыштымской аварии). Сегодня очевидны результаты, вытекающие из этого трагического факта для науки и для России, когда фигура масштаба Н. В. от работ на этом уникальном полигоне была отстранена. Но хотелось бы в этой аудитории сказать, что аура Н. В., работавшего от уральского полигона (следа) всего в 100 километрах, конечно, отражала все, что делалось в Миассово, а раньше — в Сунгуле. Поэтому я при всех ограничениях, связанных с секретными работами, стремился приезжать на эти ежегодные Миассовские встречи с Н. В. Мы впитывали идеи Н. В. и реализовывали их по мере возможностей...»[2]

Роль Миассово в развитии генетики и вообще биологии требует особого рассказа. Как ни странно, но именно Зауралье оказалось свободной зоной, где бурно развивалась наука. Сюда стремилась молодежь из столиц, чтобы учиться, слушать лекции ученых мирового масштаба, чтобы становиться настоящими специалистами и в физике, и в биологии. На самом деле, и в мировой культуре. Любое упомянутое мимоходом Н. В. имя было незнакомо молодым слушателям, собравшимся на поляне Ильменского заповедника. Будь то поэт, художник, физик. Память, культурное богатство поражало.

[2] *Алексахин Р. М.* Несколько слов о Н. В. Тимофееве-Ресовском — радиоэколог // Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и эволюции: Тр. Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского, Дубна, 6—9 сент. 2000 г. / [Сост.: В. Л. Корогодина, Н. И. Дубровина]. Дубна, 2001.

Но особую роль все это играло в бурном развитии генетики. Это была ее точка роста. Она была призвана восполнить лысенковское мракобесие. И форма этих семинаров была необычная и запоминающаяся.

«Теперь несколько слов об этих Миассовских совещаниях-семинарах, о чем упоминали Юрий Федорович (Богданов) и десятки других людей. Эти совещания назывались одни "трепы", и это слово было канонизировано Н. В. Треп вошел в лексикон того времени, это слово очень любил Н. В., хотя, может быть, это слово в современном лексиконе воспринимается несколько вульгарно.

Теперь о том, что сделал фундаментальное Н. В. в радиоэкологии. Во-первых, он раньше других ученых описал лучевые эффекты в природе, что сегодня является предметом острой дискуссии — как же влияет ионизирующая радиация на природные экосистемы, биогеоценозы. Сегодня это детально обсуждается с учетом развития атомной энергетики, необходимости решения проблемы радиоактивных отходов. Н. В. первым, подчеркиваю, в мире, в уникальных условиях, сначала в "Лаборатории «Б»" в Сунгуле, а затем в Б. Миассово, расшифровал и на достаточно скромных моделях показал сложность действия ионизирующей радиации на природные экосистемы, или, как он говорил, биогеоценозы. Второе — проблемы реабилитации загрязненной окружающей среды».[3]

Надо учитывать, что в нашей стране ещё и загрязнений не было. И тем не менее уже в конце 1950-х годов Н. В. говорил о необходимости думать о реабилитации среды, загрязненной в результате деятельности человека.

«Работы по реабилитации загрязненных угодий были выполнены в 60-е годы, когда речь ещё не шла о Чернобыле. Уже тогда сунгульские работы Н. В. были путеводными. В последующие годы идеи Н. В., невзирая на его "государственное отлучение", реализовывались на Урале, позже в Чернобыле. И ещё одна важная идея. Н. В. одним из первых подчеркнул,

[3] Там же.

что радиационный фактор будет одним из важнейших в развитии природных объектов и привлечет к себе внимание в свете увеличения роли ядерной энергетики. Кстати, имен и работ ни В. И. Вернадского, ни Н. В. Тимофеева-Ресовского как радиоэкологов на Западе не знают. Н. В. не просто писал о действии ионизирующей радиации на биогеоценозы, но первым показал значение метода меченых атомов для понимания техногенного воздействия. <...> К сожалению, для молодых радиоэкологов эти факты малоизвестны. Поэтому я хочу закончить свою речь словами — безусловно, мы сегодня признаем Н. В., оказавшего очень большое влияние на радиоэкологию, основоположником этой научной отрасли. Именно на Урале — в Сунгуле, Миассово и на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа (Опытная станция) сформировалось ядро этой научной дисциплины».[4]

Яркость характера и судьбы мешали современникам оценить научные масштабы этой личности и понять, насколько этот ученый опередил свое время. Он спокойно занимает место в ряду великих русских ученых: Вернадского, Вавилова, Сукачева и других. Их всех отличает планетарное мышление. Ещё живя в Германии, он попал в центр научной жизни Европы.

Из доклада Анатолия Федровича Цыба, доктора медицинских наук, академика РАН:

«За 20 лет работы за рубежом Тимофеев-Ресовский приобрел научные связи со многими выдающимися учеными того времени. Среди них — Н. Бор, М. Планк, Э. Шредингер, Т. Морган, Г. Меллер, Гейзенберг, Йордан и другие. К нему приезжали в Берлин-Бух во время заграничных командировок крупнейшие отечественные ученые — Н. И. Вавилов и В. И. Вернадский.

Из молодых его тогдашних друзей следует назвать физика М. Дельбрюка и математика К. Циммера, которых он "переманил" в биологию. С ними Николай Владимирович опуб-

[4] *Алексахин Р. М.* Несколько слов о Н. В. Тимофееве-Ресовском — радиоэкологе.

ликовал в 1935 году большую статью "О природе генных мутаций и структуре гена", ставшую предтечей современной молекулярной биологии.

Исследования в этой области необходимо отметить особо, так как они помогли Тимофееву-Ресовскому, по сути, вычислить ген. Это открытие он сделал, используя тот же подход, который применил Резерфорд в атомной физике при определении размеров атомного ядра».[5]

Многих европейских физиков он заразил своей любовью и восхищением живыми объектами. Он гордился тем, что он «мокрый зоолог». И именно эти знания позволили ему сформулировать основные принципы организации живой природы.

«Сам же Николай Владимирович считал главным, что он сделал в науке — установление принципа усилителя в биологии. Суть этого принципа в том, что какое-то незначительное, на первый взгляд, явление с очень низкой энергией приводит в действие силы на много порядков большие. Это похоже на легкий толчок, который нарушает неустойчивое равновесие в горах и приводит к грозному камнепаду или лавине.

Тимофеев-Ресовский рассматривал мутации как физическое явление. Биохимически или энергетически оно уловимо, но, многократно усиливаясь, приводит к существенным изменениям в организме. Это один из главных принципов, лежащих в основе всей биологии, да и всего естествознания вообще. Николай Владимирович, в частности, выделил четыре главных уровня организации живой природы: молекулярно-генетический, онтогенетический (пока самый неясный), популяционно-видовой и биосферный. На каждом из этих уровней существуют свои качественно иные элементарные события. Это один из примеров его системного подхода к анализу явлений природы».[6]

---

[5] *Цыб А. Ф.* К 100-летию со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского // Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и эволюции. <...> Дубна, 2001.

[6] Там же.

Несмотря на свои достижения, он не защитил никаких диссертаций, не имел никаких званий, и награды его были столь же редкими и особенными, как и он сам.

«Тимофеевым-Ресовским была проделана огромная научная работа. Он обобщил исследования по теории мишени, эволюционным процессам в биологии, теории вида и видообразования, сформулировал основные положения по проблеме “Биосфера и человечество”. В 1969 году за выдающийся вклад в радиационную генетику Николай Владимирович был награжден Кимберовской медалью США. Но, пожалуй, самой дорогой наградой для него была Дарвиновская медаль, присужденная ему в 1959 году в Германии. Достижения ученых-генетиков отмечаются этой медалью один раз в 10 лет».[7]

Ниже мы печатаем случайно обнаруженную в архиве запись беседы папиного друга, одноклассника с юной Олей Патрушевой, которая волею судьбы не стала аспиранткой Н. В. Но даже в этом мимолетном знакомстве проявились необыкновенные человеческие качества этой семьи, где помощь и забота о людях, занесенных судьбой в их круг, была обязательной и не зависела от того, гитлеризм ли вокруг, сталинизм или мирное время.

✧✧✧✧✧

[7] *Цыб А. Ф.* К 100-летию со дня рождения Н. В. Тимофеева-Ресовского.

А. И. Лютер[1]

БЕСЕДА С ОЛЬГОЙ ИВАНОВНОЙ ПАТРУШЕВОЙ[2]

— Недавно, чисто случайно, я узнал о том, что вы были знакомы с Тимофеевым-Ресовским и что у вас были встречи в свердловский период его деятельности. Не могли бы вы рассказать об этом подробнее?

— Ну, тот, от кого вы это слышали, несколько преувеличивает, говоря о каких-то особых моих встречах с Тимофеевым-Ресовским, потому что я была у него в аспирантуре лишь с начала 1964 года, почти сразу после окончания университета. Ещё студенткой, на III курсе, я участвовала в работе спецсеминара по радиобиологии. В то время радиобиология у нас была молодой, только начинающейся наукой, и никаких центров по подготовке специалистов не существовало (по биофизике лишь готовим, а по разделу радиационной биологии — нет). Вот тогда мне и рекомендовали, чтобы моим научным руководителем стал Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.

— А вы сами свердловчанка?

— Я родом из-под Свердловска. Близ Нижнего Тагила есть такая Навьянская «падающая» башня, там как раз и зарегистрировано мое появление на свет, так что я уральская... А Николай Владимирович, как известно, после, если можно так сказать, «отсутствия» под Челябинском — миассовского своего периода — возглавил большую лабораторию в Свердловске. А потом... Ведь год 1964-й остался, наверное, почти у каждого в памяти как год снятия со всех постов Хрущева,

---

[1] Лютер Анатолий Иванович — заслуженный работник культуры, одноклассник Д. А. Гранина (15-я средняя школа Смольнинского района Ленинграда на Моховой ул., 33). Работал в Министерстве культуры СССР, руководил журналом «Культпросветработа». Сын латышского революционера Яниса Лютера (1883—1938), участника двух революций (1905, 1917 годов), видного хозяйственного деятеля в Ленинграде.

[2] ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-107. Оп. 6. Д. 21. Л. 19—33.

а в науке — развенчания Лысенко; последнее, в свою очередь, активно способствовало присуждению докторских степеней без защиты диссертаций целой плеяде крупных советских биологов, которые были гонимы при Лысенко. И Николай Владимирович был одним из тех, кто без защиты диссертации получил докторскую степень... Кстати, у Гранина в «Зубре» этот знаменательный факт из жизни Тимофеева-Ресовского, к сожалению, выпал...

— А как практически свели вас с Тимофеевым-Ресовским?

— Видите ли, все дело в том, что как это ни странно — вот сейчас 89-й год, а всего 25 лет назад хорошие биологи все знали друг друга очень хорошо, независимо от степени и званий. Впрочем, может, я ошибаюсь, и сейчас точно так же. Во всяком случае, мой научный руководитель (ныне он академик большой Академии наук) Юрий Анатольевич Собчевский был знаком, как биофизик, с Николаем Владимировичем. Хотя Собчевскому не было ещё сорока лет, он был уже доктором наук, и я у него училась в Казанском университете.

— А я полагал, что в Свердловском.

— Нет, я кончала Казанский университет и диссертацию потом защищала там же.

— Но аспирантура... Ведь Николай Владимирович находился в Свердловске?

— Да... Я как раз и хотела сказать о том, что в те годы имелась возможность посылать своих аспирантов в целевую аспирантуру и в другие учебные заведения или НИИ. Казанскому университету нужен был биофизик, и меня направили сразу к Тимофееву-Ресовскому в Свердловск на...

— Как бы на стажировку?

— Нет, сразу на учебу. Дело в том, что, ещё будучи третьекурсницей, мне удалось опубликовать статью в специальном журнале «Радиобиология» — в одном из первых номеров, он только начал тогда выходить. Маленькая, правда, такая статейка о влиянии радиоактивного фосфора на сердцебиение пресноводных моллюсков. Ну и в аспирантуре думала как-то продолжить эту тему. В Казани это было невозможно. И вот Юрий Анатольевич списался с Тимофеевым-Ресовским и ого-

ворил с ним, что пришлет свою бывшую студентку, которая уже как-то себя немножечко зарекомендовала, то есть не случайный человек, и что пусть он посмотрит и даст (или не даст) согласие быть моим научным руководителем. То есть окончательное решение вопроса Собчевский, естественно, оставлял за Николаем Владимировичем: брать или не брать меня в свою аспирантуру. Какое-то время заняла эта переписка, оформление документов и т. д. А сама встреча состоялась уже потом, так как именно в тот период Николая Владимировича переводят в Обнинск, что под Калугой. Там открылся крупнейший в Европе Центр по изучению влияния радиоактивности на живые организмы, причем Центр на очень высоком, можно сказать, европейском уровне. И Николай Владимирович стал там зав. отделом радиационной биологии, в этом Центре, созданном на базе первой в Союзе Обнинской атомной электростанции.

— Ну а в самом Свердловске он, кажется, начинал работу на каких-то, если можно так выразиться, «полулегальных» условиях?

— Да, фактически он заведовал там лабораторией, но, не будучи даже кандидатом наук, числился на лаборантской ставке. У него жена, кстати, она нормально защищалась... его Лелька... Он звал ее все время так: Лелька (чуть подражает интонационно), Лелька... Я была знакома с их семьей... И Свердловскую лабораторию, при своем переводе в Обнинск, Николай Владимирович оставил невестке, так как она к тому времени уже защитилась как раз по радиобиологии. Нина Алексеевна Тимофеева — ее фамилия, она уже «Ресовская» не добавляла.

— Это жена младшего сына?

— Да, Андрея. Собственно, и он ведь уже просто Тимофеев... И вот у меня получилось так, что я поехала на «официальную» встречу с Николаем Владимировичем уже на новое место его работы — в Обнинск. В Свердловске я с ним практически не встречалась. Знала там только его невестку. Ей осталась хорошая база для экспериментов, для опытов. А в Обнинск он ехал создавать новую лабораторию. Было помещение, но его надо было оснастить приборами, насытить

людьми. И вот из Свердловска многие поехали за ним — Иванов, Тюрюканов и др. Они все уже доктора наук и фигурируют в книге Гранина «Зубр».

...И вот я в Обнинске. Оказалось, что институт расположен за чертой жилого массива, причем ехать надо до него на автобусе минут 20—25... Очевидно, при выборе места для жилья учитывалось возможное радиационное воздействие. И люди ездили в Центр и возвращались с места работы домой на служебном автобусе. Я тоже попала на этот автобус. И вот буквально первый же разговор, который я услышала в автобусе, касался Тимофеева-Ресовского, а вернее, бурного обсуждения, состоявшегося на Совете Института, когда ему присваивали степень доктора. Разговаривали громко, перебивая друг друга, с каламбурами, шутками. Запомнилось главное, что все равно, хоть докторская степень присуждена и без защиты диссертации, но кандидатские экзамены он должен был все-таки сдавать. Ну, положим, иностранный язык он сдаст легко, так как свободно владеет несколькими европейскими языками. Специальность уж тоже как-нибудь да сдаст — ведь он автор одной из важнейших теорий в радиобиологии (теория воздействия радиации на клетки и т. п.). А вот экзамен кандидатский по основам марксизма-ленинизма —ни за что не сдаст!.. И тут вновь посыпались реплики шутливые и каламбуры, они азартно подхватывались всеми. Так весело мы ехали, а по приезде я сразу же пошла к Николаю Владимировичу в лабораторию.

Хорошо запомнилось первое, чисто внешнее впечатление от самой лаборатории: современное такое здание, с большими окнами. От старых университетских помещений оно, конечно, отличалось — много света, стекла, бетона и т. д. Но и какая-то ещё внутри пустота ощущалась. Не всё, очевидно, было обустроено, не хватало приборов, ещё чего-то, словом, шел организационный процесс.

...Николай Владимирович сразу меня чуть озадачил своей манерой говорить, как-то резко-отрывисто, порой насмешливо. И, естественно, при моей в общем-то провинциальности, да «несолидном» возрасте (ведь я только-только закончила институт) — все это было слишком необычным. Словом,

я где-то подрастерялась. Он, видимо, это почувствовал. А ребята, которые окружали его — все тогда ещё были молодые — давай подтрунивать надо мной. Я ещё больше смутилась. И тогда Николай Владимирович сказал: «Ну ладно уж, вы ее совсем затюкали, перейдем к делу»...

Тут надо заметить, что Николай Владимирович уже тогда, в начале 1964-го, был почти слепой. Вернее, у него были совершенно атрофированы те нервы зрительные, что позволяют смотреть прямо перед собой. И поэтому, беседуя со мной, он как-то странно временами поворачивал голову, и казалось, что он смотрит куда-то в сторону. Его интересовало все — чем я занималась, чем увлекаюсь, что практически делала? А я к тому времени уже прочитала несколько небольших циклов лекций для студентов по радиобиологии, тесты там разработала какие-то и т. д. Ему все это, в общем-то, понравилось, и он, опять «взглянув в сторону», сказал: «Ну, давайте я Вам тут напишу...»

Взял мое «направление» и стал писать буквами размером, наверное, в два-три сантиметра, потому что иначе он почти ничего не видел. И как бы прислонившись плечом к «боковому» с левой стороны глазу (показывает), вот так вот он писал. Крупными буквами, неразборчиво, причем немножечко путал русский алфавит с латинским. Например, «и» у него было с точкой (i), ещё что-то. Словом, манера письма была несколько своеобразной.

Я вспомнила об этой детали недавно, перечитывая гранинского «Зубра». Почему-то в книге не сказано про это боковое зрение у Николая Владимировича, «впрямую» он не видел и уже тогда, в начале 60-х, ему было очень трудно работать экспериментально. Ну а портретное сходство и сам образ Тимофеева-Ресовского возникает из повести Гранина выпукло и точно. У меня же навсегда осталось в памяти его крупное лицо, с таким необычным орлиным носом... И действительно, всего его воспринимаешь как глыбу человеческую, перед которой даже теряешься, чувствуя разницу, какую-то недосягаемость. И в то же время — простота, доступность, широта натуры неохватная. И внешне он выглядел просто.

Не любил галстуков. Они бы его стесняли, а ему нужна была полная свобода...

Так вот... Написал он на моей «бумаге» несколько слов. И тут же поинтересовался, тоже чисто по-человечески: «Естественно, вам негде...». Нет, даже не так!.. «Если Вам негде здесь остановиться, негде сегодня перекусить, я Вас прошу ко мне, к обеду...»

И это он-то, европейская величина, меня, не оперившуюся в науке, случайную ещё в общем девчонку и сразу... к обеду!

— Для него, очевидно, не существовало никаких градаций на этот счет: с девчонкой он беседует или со степенным ученым мужем. А потом, почему бы им не сидеть рядом за обеденным столом?

— И что вы говорите? Конечно! И все же я была смущена этим неожиданным приглашением, пробормотав что-то вроде: «Да что вы, не беспокойтесь...» А он в ответ, в такой доверительно-грубоватой манере: «Ничего, ничего, Лелька накормит». В общем он даже настоял, и я пошла к ним обедать.

Квартира у них была в обычной, как сейчас говорят, «хрущёбе», точно не помню, по-моему, двух- или, пожалуй, нет — трехкомнатная. С этим арочным проходом, с этой крохотной кухонкой, стол был накрыт в большой проходной комнате, за ним сидело человек, наверное, побольше десяти... Но что меня поразило сразу — это не только скромность обстановки (простой стол, неприметные стулья, никаких там полированных вещей, никаких «стенок» — ничего!). Всё это было буквально подавлено стеллажами с книгами, простые стеллажи, видно, сколоченные своими руками, может, с помощью учеников — и книги, книги, книги, и та сторона, к которой была обращена спальная комната, она тоже была вся в стеллажах, тесно-тесно заставлена книгами. Они лежали ещё и сверху, и сбоку в порядке, ведомом, вероятно, только их хозяину...

Вот так и осталось в памяти: сплошные стеллажи с книгами, от пола до потолка, высотой в два с половиной метра. И казалось, что потолок этот как бы давил на самого Николая Владимировича, на эту «глыбу». А он ведь был высокий,

крупный такой мужчина, да ещё с раскатистым голосом! И весь он здесь просто не умещался, ему было просто тесно в этой квартирке, в этой «малометражке»...

Ну, а обед? Еда, в общем, была самая простая, я сейчас, конечно, не помню в точности, что мы там ели — суп, возможно, котлеты, капусту, а может, и другое что-то... не помню... Да мне было не до того. Я только слушала, смотрела и наблюдала за этим дружеским столом, впитывая в себя каждое услышанное слово, ведь все здесь было для меня вновь, и только сразу охватило чувство, что за столом собралась как бы единая семья, хотя кроме жены Н. В., Елены Александровны (его Лельки) — прямых родственников не было, просто пришли к обеду (и не в первый, видимо, раз) близкие по своим устремлениям и работе люди... Шёл общий, непринужденный разговор, но что интересно — о самой работе, как таковой, о лабораторных делах по существу не говорили. И лишь временами звучали какие-то намеки, реплики, смысл которых мне даже трудно было понять — о каких-то людях, о результатах каких-то опытов... Но что именно имелось в виду — прямо не говорилось. Многозначительные взгляды там, улыбки... А то вдруг после чьей-то реплики звучал общий смех или начиналось дружеское подначивание. Они понимали друг друга с полуслова, и это создавало свою, совершенно неповторимую атмосферу...

И что было для меня совсем неожиданным: собрались-то на застолье биологи, биофизики, а говорим больше всего — об искусстве! Причем не об искусстве вообще, почти весь обед подчинялся одному — даже не знаю почему, то ли юбилей был, то ли просто делились мыслями — но весь разговор велся вокруг живописи Врубеля, подробностей я, конечно, не помню, но осталось в памяти, что все (и Николай Владимирович особо пристрастно) с большой симпатией относились к творчеству этого замечательного художника, жалели, что у нас хороших альбомов о Врубеле тогда не было. А Николай Владимирович ткнул пальцем в направлении одного из стеллажей, где у него стояли врубелевские издания — все зарубежные — и тоже посетовал, что в России, где художник ро-

дился, подобно изданных репродукций нет... Вот этот момент я хорошо запомнила.

...Ну и, конечно, как живая встает передо мной «хозяйка стола» — Елена Александровна, высокая, очень худая, курила «Беломор». Она курила больше, чем он (вообще курили все очень много, дым над столом, как говорится, валил столбом), причем у нее уже было к тому времени очень худое и морщинистое лицо, как у женщин, которые много курят. И ещё такой басовитый, прокуренный голос... Как сейчас помню, на ней была блузочка с брошью, заколотой на шее. Очень подтянутая такая, она казалась строгой домоправительницей этого шумного дома...

Ну, и в общем... мне очень захотелось тоже стать здесь своей, просто я где-то нутром, даже не умом, а сердцем поняла, что само по себе общение в этой среде, с этим «домашним университетом культуры», возможность соприкоснуться с этой школой интеллектуального и морального развития — уже очень-очень многое для меня. И ещё... Чтобы быть не то что вровень с ними, но хотя бы даже робко говорить о чем-то в этом кругу, надо знать куда больше, чем просто «специальность», и вообще заслужить право на это общение, заслужить в хорошем смысле слова.

— Ну, а как же дальше развивались ваши аспирантские дела?

— Я в целом была готова к разговору о своем оформлении. Даже настроилась на то, Николай Владимирович непременно скажет: «Вот вы должны будете сделать то-то, то-то и то-то, ставить такие-то эксперименты, потому что наша лаборатория ведет теперь работу в таком-то направлении и т. п.» Оказалось же все наоборот... он не давил, а лишь настоятельно спрашивал: что Вас интересует, что бы Вы сами хотели сделать, чем заняться? И вот это мне тоже очень-очень импонировало... А так как я намеревалась продолжать заниматься пресноводными моллюсками, потому что уже накопилось немало интересных наблюдений не только по тому семейству, с которым я долго работала, но уже по другому семейству, на прудовиках, то мне хотелось это делать и дальше. Тем более что набирался материал и для публикаций. Нико-

лай Владимирович внимательно выслушал меня и сказал, что эту часть экспериментальной работы лучше сделать в лаборатории его невестки, в Свердловске.

Я уже упоминала, что Нина Алексеевна была кандидатом биологических наук и в общем-то ученицей Тимофеева-Ресовского. А Елена Александровна — тоже кандидат биологических наук, она как раз занималась биоценологией пресноводной фауны и, как мне помнится, именно Елена Александровна предложила использовать в загрязненных радиоактивностью водах ряд живых организмов, которые накапливают в своем организме радиоактивность и помогали бы, благодаря этому, очищать от нее сами водоемы. Причем во много раз быстрее, чем это делают химические вещества. И, естественно, это было бы биологически значительно чище...

И вот мы договорились с Николаем Владимировичем, что сейчас я вернусь в Казанский университет, так как мне надо досдать ещё кандидатские экзамены — ну, там, английский, педагогику, словом, все, что положено по минимуму; что специальность я буду сдавать у него, а в декабре месяце поеду в Свердловск — он уже договорится к этому времени обо всем с невесткой — в ту лабораторию, которую сам недавно оставил, где все отлажено и я смогу там делать свои опыты... С этим я и уехала от него обратно. Ну и...

— Сколько же Вы пробыли в Обнинске?

— Пробыла я там несколько дней. Почему и сказала вначале, что наше общение с Николаем Владимировичем было недолгим. Но так уж получилось. В Казани я сделала все, о чём мы договаривались, сделала в срок, справилась со всем хорошо. Но обстоятельства не позволили реализоваться моим планам. Я заболела.

— Вернемся к предмету нашей беседы... Больше встреч с Тимофеевым-Ресовским у Вас не было?

— Нет, больше мы не встречались, я же говорю — все было очень кратковременно, но в память врезалось накрепко, может, ещё и потому, что мы довольно долго поддерживали добрые отношения с его невесткой, Ниной Алексеевной. И продолжала общаться с ней даже тогда, когда я уехала

к своим родителям в Севастополь, где они в то время жили. Там был Институт по радиобиологии южных морей, и Нина Алексеевна приезжала иногда на совещания (симпозиумы), которые там проводились. Тогда мы приглашали ее к себе домой, помню, как папа возил нас на машине — меня и ее с подругой — по Севастополю и за город мы выезжали...

Да-да, все лучшее шло от их семьи... А для меня это была и какая-то внутренняя связь с Николаем Владимировичем и Еленой Александровной...

— Ну и, возвращаясь к гранинскому «Зубру», когда Вы столкнулись с этой документальной повестью, то...

— Встретила её появление с очень большим интересом. Мы выписывали тогда «Роман-газету», нет, зачем же — сначала получили «Новый мир», в «Новом мире» она была раньше опубликована... Привлекло сразу внимание само название — «Зубр». И вообще люблю произведения этого писателя, читаю всегда с удовольствием и как бы то ни было — прочла бы все равно... Но когда с первых страниц поняла, что речь идет о Тимофееве-Ресовском, о моем — будем так говорить — несостоявшемся научном руководителе (вернее сказать, его несостоявшейся аспирантки. — *А. Л.*), то этот интерес и увлеченность повестью возросли во сто крат... Это была как бы новая встреча с Николаем Владимировичем, его Лелькой, со многими людьми, их окружавшими, и по-новому раскрывшая его непростую судьбу, целеустремленность и непреклонность его могучей натуры...

Да, вспомнилась ещё одна как бы заочная «встреча» с Н. В. Тимофеевым-Ресовским. Дело в том, что мой брат, который ныне возглавляет отдел экспериментальной генетики в одном из наших институтов, был на последней лекции Тимофеева, последней в его жизни, и рассказал мне потом об этом.

— Где это было, в Москве?

— Да, в Москве. Николай Владимирович вынужден был оставить Обнинск и перешел в Институт медико-биологических проблем, его пригласил к себе академик Газенко. Это здесь, недалеко, на Клязьме... Правда, я не помню, в этом ли институте состоялась лекция или в другом месте, но, во вся-

ком случае, в то время, когда он уже работал у О. Г. Газенко. И вот мой брат слушал эту последнюю лекцию Тимофеева-Ресовского. А я так жалела, что по какой-то случайности не была на ней, ведь, по существу, это была его последняя публичная лекция.

— Когда это происходило?

— В конце семидесятых годов или в начале 80-го, точной даты не помню. Но как рассказывал мне брат, он (Тимофеев-Ресовский) говорил о том, что буквально был обескуражен обилием экологических проблем Волги. Его всегда волновали проблемы охраны природы, а тут он как раз вернулся с Поволжья (проехал на теплоходе чуть ли не всю Волгу). И лекцию свою начал именно с того, что радиоактивные загрязнения, экологическая распущенность в нашей стране достигли такой «запредельности», что большее даже трудно представить, и то, что происходит на Волге, — не что иное, как реальная экологическая катастрофа!

Сейчас об этих проблемах (Волга, Байкал, Каспий, Арал и т. д.) дискутируют, пишут все, принимаются какие-то решения и спасительные меры, далекие, правда, от должного эффекта, но ведь он трубно вещал обо всем этом и в те годы, когда забота о природе считалась чуть ли не первородным грехом... Иначе действовать он не умел и не мог.

...Я часто вспоминаю те далекие годы, когда мне посчастливилось, пусть очень недолго, но общаться с Николаем Владимировичем Тимофеевым-Ресовским, его близкими, и думаю о том, сколько доброго и хорошего он передал людям.

✧✧✧✧✧

М. Д. Чернышева-Гранина

ЧТО ТАКОЕ «ЗАКРЫТЫЕ ГОРОДА»

Закрытые города появились в СССР в 1946—1953 годах в рамках атомного проекта. Это были закрытые административные образования. В них располагались объекты государственной важности в областях военного дела, энергетики, космоса и, конечно, атомных исследований. Основу этих городов составляли предприятия ядерного комплекса, научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, опытные заводы и испытательные полигоны. Создавались эти города в режиме строгой секретности. Из десяти закрытых городов пять находятся на Урале. Из соображений секретности в название города входил номер, и он часто менялся. Вначале планировались небольшие поселения, не более 5000 человек. Но начавшаяся гонка вооружений вынудила власти создавать в глухой тайге города с населением более 10 000 человек. Строили эти города вначале заключенные, пленные, солдаты. Необходимо было сделать жизнь в этих городах привлекательной, так как жили там особенные люди.

Строили комфортабельные дома, работники получали отдельные квартиры, не сразу, конечно, но довольно быстро. Кинотеатры, дома культуры, спортивные залы – все было в этих городах, включая, конечно, высокие зарплаты и отличное снабжение. Работа интересная, оборудование самое современное. Однако свобода передвижения была ограничена. В некоторых городах можно было уезжать в отпуск, в некоторых покидать их было нельзя. Тогда в пригородах строились дома отдыха, санатории, пионерлагеря для детей, где можно было проводить отпуск, никуда не уезжая. Надо сказать, что такой же подход использовался и в Америке. Гонка вооружений требовала максимальной секретности. Однако современные исследования показывают некоторую разницу в организации закрытых городов у нас и у них. Причем, что всегда для нас неожиданно, в нашу пользу. Метод индивидуального отбора был обязателен при комплектовании кадрами предприя-

тий закрытого города. Неудивительно, что люди проникались значимостью выполняемой работы, гордились оказанным им доверием. И этой своей исключительностью дорожили. Город воспринимался как форпост передовых технологий, защитник страны и мира от войны. Это отношение просуществовало до 1990-х годов.

Город Снежинск, основанный в 1955 году, где выступал Д. А. Гранин, стал самым молодым закрытым городом СССР. Этот город до сих пор остаётся закрытым. На его территории размещён Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е. И. Забабахина. Главная задача института – разработка ядерного оружия, обеспечивающего национальную безопасность и стратегическую стабильность в мире.

И вот из такого города папа неожиданно получает приглашение выступить по поводу только что вышедшей книги «Зубр». Вот подробности получения этого приглашения и некоторые детали этой поездки.

✧✧✧✧✧

В. Н. Ананийчук

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯ

В начале 1987 года в журнале «Новый мир» (№ 1 и № 2) впервые была опубликована повесть Д. А. Гранина «Зубр», посвящённая видному ученому-генетику Н. В. Тимофееву-Ресовскому, человеку трудной и удивительной судьбы, одним из этапов жизни которого была работа в Лаборатории «Б», расположенной на полуострове Мендаркин озера Сунгуль в посёлке Сокол Каслинского района Челябинской области в 1947—1955 годах

Немного об истории этого места. В 1932 году в посёлке Сокол начал действовать небольшой дом отдыха, который в 1934 году был преобразован в санаторий «Сунгуль». Здесь же были обнаружены радоновые источники воды, которые стали использоваться в лечебных целях, наряду с сапропелевыми грязями. В годы Великой Отечественной войны на территории санатория работал реабилитационный госпиталь, где продолжали лечение и восстанавливали здоровье сотни тяжелораненых солдат и офицеров.

Принципиальное решение о создании института «Б» наряду с институтами «А», «В» «Г» было принято летом 1945 г., а располагаться Институт «Б» должен был на территории санатория «Сунгуль». Чуть позднее Институт «Б» был переименован в «Лабораторию “Б”». Подписанными И. В. Сталиным, задачами стали:

— изучение и классификация патологического действия радиации и разработка методов защиты от излучений;

— разработка способов очистки вод от радиоактивных продуктов;

— изучение поражающего действия радиоактивных продуктов распада и разработка способов защиты от их воздействия.

Общая численность сотрудников на момент создания лаборатории была определена в количестве 145 человек, в том числе: научного персонала — 30, ИТР — 15.

Директором объекта до конца 1952 года был полковник А. К. Уралец, а в период 1952—1955 гг. – Г. П. Середа. Руководителями двух научных отделов были Н. В. Тимофеев- Ресовский и С. А. Вознесенский. С ними работали и немецкие специалисты: Г. Борн, К. Циммер, А. Кач и другие.

В 1950 году на должность научного руководителя Лаборатории «Б» был назначен Н. В. Риль, видный немецкий ученый, который был переведён из города Электросталь, где под его руководством проводились работы по организации исследований и производству чистого металлического урана. За комплекс этих работ он был удостоен звания Героя Социалистического Труда (единственный из числа всех немецких специалистов, привлеченных к работам в атомной отрасли СССР). В Лаборатории «Б» был проведен большой объем научных исследований и разработок, многие из которых носили пионерский характер. Здесь было положено начало новым направлениям экспериментальной радиационной медицины, разработаны методы почвенно-биологической и химической дезактивации, проведены серьезные исследования в области радиационной дозиметрии и предельно допустимых норм облучения человека, созданы методы и технологии разделения изотопов, а также целый ряд других значимых работ.

В Лаборатории «Б» начали свою научную карьеру будущие доктора наук и лауреаты Ю. И. Москалев, В. Н. Стрельцова, Н. В. Лучник, Н. В. Куликов, А. А. Титлянова, Л. А. Булдаков (академик Российской академии медицинских наук, 1992). Советские и немецкие специалисты в своей повседневной работе сумели создать обстановку тесного и плодотворного сотрудничества, в которой стали общими мотивация и вера в успех.

В 1955 году Лаборатория «Б» была расформирована в связи с решением о размещении на ее базе нового центра по разработке ядерного вооружения.

Публикация книги Д. А. Гранина «Зубр» вызвала огромный интерес к личности Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, выдающегося ученого, тем более для сотрудников нашего института. Так зародилась идея пригласить Даниила Александровича к нам в город Снежинск, помочь

ему побывать там, где находилась Лаборатория «Б», встретиться с теми, кому довелось работать с Н. В. Тимофеевым-Ресовским.

Следует отметить, что эти работы в то время проводились в обстановке жесткого режима секретности.

Идея пригласить Д. А. Гранина была одобрена и активно поддержана директором нашего института Георгием Павловичем Ломинским,[1] возглавлявшим наш институт в период 1964—1988 гг.

Георгий Павлович Ломинский лично поручил мне организовать всю необходимую работу по реализации приезда Даниила Александровича. В мае 1987 года мне удалось установить прямые контакты с Д. А. Граниным и направить ему официальное приглашение директора Института. Следует отметить, что пришлось при этом преодолеть целый ряд препятствий.

Сегодня некоторые моменты того времени уже кажутся удивительными; так, например, Георгий Павлович получил прямое указание от вышестоящего руководства в Москве не пускать Д. А. Гранина в город Снежинск; из архивных документов, которые планировалось показать, были временно изъяты некоторые страницы. Георгий Павлович очень переживал из-за этого.

Атмосфера напряженности и недоверия передавалась и нам. Но постепенно страсти улеглись, и 8 сентября я выехал в аэропорт Кольцово для встречи Даниила Александровича. Там же его встречал Андрей Николаевич Тимофеев — сын Николая Владимировича.

А первая встреча Д. А. Гранина и Г. П. Ломинского состоялась уже в сумерках на лесной дороге между поселком Сокол и городом Снежинском на встречных курсах машин и была очень короткой.

Даниил Александрович стал нашим дорогим гостем с 8 по 12 сентября 1987 года. Эти дни были насыщены мно-

[1] *Ломинский Георгий Павлович* (1918—1988) — генерал-лейтенант-инженер (1977), участник создания ядерно-оружейного комплекса СССР, лауреат Сталинской второй степени (1951), Ленинской (1962), Государственной (1979) премий, почетный гражданин г. Снежинска (1975).

гими событиями, среди них: встреча с ветеранами Лаборатории «Б», ознакомление с некоторыми архивными документами, лично представленными Г. П. Ломинским, поездка в Челябинск в Южно-Уральское книжное издательство, где Д. А. Гранин дал интервью ряду челябинских газет, и другие встречи.

Через несколько дней, уже после отъезда Д. А. Гранина, я обратился по этому вопросу к Георгию Павловичу и его заместителю А. А. Мигунову. В начале 1988 года мы привезли в типографию челябинского Дома печати несколько тонн дефицитной в то время бумаги из фондов института, и в мае в наш книжный магазин было доставлено 5000 экземпляров этой книги. Огромный интерес жителей города потребовал и организационных решений. Мы распределили тираж среди подразделений института и организаций города. В книжном магазине поместили большой прекрасный портрет Д. А. Гранина.

С этим папиным выступлением связана одна таинственная история. В самом конце своего пребывания в Снежинске ему предложили провести читательскую конференцию с жителями города. Однако, как оказалось, не было получено разрешение на такую встречу. И уже после папиного отъезда из Москвы пришел приказ уничтожить все записи этой встречи. Начальство рисковало погонами. Приказ был выполнен. И вот совсем недавно раздался звонок из Снежинска, и Владимир Николаевич сообщает мне, что они нашли эту запись. Кто-то из принимающей стороны быстро отнес ее в музей, и об этом забыли. Это чудо, это счастье, что ее нашли сейчас. Потому что сегодня еще хоть что-то выглядит новым и смелым и позволяет себе представить, какой эффект эти высказывания имели в 1987 году в закрытом городе.

✧✧✧✧✧

Даниил Гранин

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ГОРОДЕ СНЕЖИНСК, сентябрь 1987 года

— По просьбе жителей нашего города, которые до некоторой степени знают и связаны с деятельностью лаборатории «Б», которая была размещена когда-то на территории 21-й площадки, описано это все в произведении известного советского писателя Даниила Александровича Гранина в повести «Зубр». Автор прибыл к нам по нашему приглашению. Хотя времени у него в обрез, тем не менее, он нашел возможным нас посетить, и вот он перед вами и я передаю слово ему.

— Спасибо. Георгий Павлович сказал, что я прибыл по вашей просьбе, а то я был сейчас в Челябинске, в Каслях, и меня все спрашивают: «А чего Вы приехали?» Да... И как-то трудно объяснять. Я действительно приехал по просьбе вашего руководства и очень этому рад и доволен, приехал, хотя я никуда стараюсь не ездить. Некогда. Но тут меня прельстило то, что эти места связаны с героем моей последней вещи, он здесь жил и работал, а этот период был мне неизвестен, и я о нем знаю понаслышке, и этих мест не видал никогда. Поэтому было любопытно посмотреть, как он тут жил, что он тут видел, природу эту, озеро, дома, которые сохранились, воздух этот. Кроме того, я ещё надеялся встретиться с товарищами, которые помнили его, работали вместе с ним и могли рассказать мне много интересного. Так что за это спасибо вам.

Ну вот, как мы теперь будем работать с вами? Мне тут надавали всяких вопросов заранее. Я на некоторые из них постараюсь ответить. Но кроме того, прошу, пожалуйста, посылайте вопросы, можете с места задавать, перебивать, но не очень, так... Чтобы было, в общем, какое-то подобие диалога, что ли. Начинаем.

— Что и когда натолкнуло Вас на мысль написать о Тимофееве-Ресовском? Расскажите о первой встрече с Зубром. Часто ли они были? Когда была закончена книга? Были ли

препятствия к ее опубликованию? Все ли задуманное удалось опубликовать?

—Я познакомился с Николаем Владимировичем где-то в шестьдесят пятом году. Я был на лекции, которую он читал в Ленинградском университете, лекция мне очень понравилась. Я подошел к нему после лекции и говорю: «Не согласитесь ли Вы вечерком почитать лекцию... выступить с такой же лекцией примерно, но попроще, перед писателями нашего города?» Он согласился и вечером приехал в Дом писателей в Ленинграде, выступил перед писателями, потом я его затащил к себе домой, мы посидели с ним вечер, и я влюбился в этого человека. Я вообще люблю «собирать» людей, что ли, ну, просто интересные люди попадаются когда на моем пути, то знакомлюсь с ними, слушаю их, встречаюсь с ними, не отпускаю их. Вот Николай Владимирович был один из таких людей, он чрезвычайно был яркий человек, и я очень полюбил его. С тех пор мы стали с ним встречаться. Я у него бывал в Обнинске. Когда он бывал в Ленинграде, мы с ним обязательно встречались, в Москве тоже старались встретиться. Я даже стал записывать некоторые его рассказы, очень были интересные рассказы; записывал их впрок, не думая о том, что когда-нибудь я буду делать из этого книгу.

После его смерти, через несколько лет, я решил написать о нем. Почему я решил написать о нем? Ну, во-первых, потому, что я его любил и скучал, а во-вторых, потому, что мне показалось несправедливым отношение к нему, судьба его показалась несправедливой. Это великий ученый, а о нем мало знали. А то, что о нем знали, то знали не так, все это было перемешано с всякими домыслами, клеветой и неправдой. И я решил рассказать о нем то, что я знал, то, о чем я догадывался, и то, во что я верил. Вот. И когда стал собирать материалы, то вообще оказалось, что это фигура даже была больше, чем я себе представлял, и выше, чем я мог себе вообразить.

«Были ли препятствия к ее опубликованию?» Не было. «Все ли задуманное удалось опубликовать?» Нет, не все, там было изъято одно место, важное место, интересное место, как раз связанное с Вашим здешним... с пребыванием его здесь, со здешними делами, а... вот-то в чем дело: он, когда здесь ра-

ботал, он работал с группой немецких специалистов, которых он сам вытащил из Германии, после войны. Это было... после сорок седьмого года он начал здесь работать, и работала здесь с ним большая группа крупных немецких специалистов, вот... работали, значит, по радиационной генетике, по радиофизике, биофизике, радиохимии и прочим вещам; там были такие специалисты, как Риль, Циммер, Борн и другие. Они здесь работали вместе с нашими специалистами и жили, несколько лет работали вместе. И вот все, что связано с ними, все было изъято из книги. Я спрашивал у товарищей-изъятелей: «Почему вы это дело изымаете из книги?». Они говорят: «Потому что в нашей печати не было этой информации, и это запрещено, запрещено рассказывать, что немецкие специалисты работали на нашу физику». Я говорю: «Позвольте. Они потом, закончив работу, все уехали в Западную Германию, во Францию, понимаете, в Америку, написали там воспоминания, опубликовали свои очерки и прочие материалы, и все это давно известно во всем мире. Что вы тут строите тайны на пустом месте?» А они мне говорят: «То, что там напечатано, это роли не играет. Важно, чтобы мы об этом не печатали». Ну, на этот довод ничего ответить нельзя. А все остальное было опубликовано.

— Встречались ли Вы с родственниками Зубра, знаете ли Вы их мнение на книгу «Зубр»?

— Да, встречался с ними со всеми; они очень довольны, счастливы.

У него один сын остался, Андрей Николаевич Тимофеев, который живет и работает в Свердловске. Он был, когда вышла эта повесть в журнале «Новый мир», он мне позвонил из Свердловска (а мы с ним до этого встречались, и он меня все расспрашивал), позвонил и счастливым голосом говорит: «Даниил Александрович, Вы знаете, как хорошо! Я вот работаю в этом учреждении, в котором я работаю, так многие со мной ведь не здоровались, а теперь здороваться стали, и даже мне дают теперь без очереди талоны на массаж». Вот такие, значит, результаты.

— Появились ли какие-нибудь новые сведения о судьбе сына Фомы, попавшего в концлагерь?

— Да, появились интересные сведения. Дело в том, что после опубликования повести я стал получать письма, и особенно интересных было два письма. Одно письмо я получил из Харькова, а одно письмо — из Архангельска. Это письма от бывших наших военных, которые были военнопленными в Германии. Они попали в плен, сидели в одном лагере, и тот и другой, они независимо друг от друга прислали мне эти письма. И вот рассказывали... рассказали очень интересную историю о том, что во время войны, в сорок третьем году, в сорок втором это началось, потом в сорок третьем году в Берлине, в лагерях под Берлином, где сидели наши военнопленные, была создана подпольная организация, так называемый «Берлинский комитета ВКП (б)». Этот «Берлинский комитет ВКП (б)» возглавил такой полковник Бушманов. Один из авторов письма, Иконников, был членом этого Комитета, рассказывал, как они начали вести подпольную работу в лагерях, в лагерях наших военнопленных и в лагерях военнопленных французских, английских и других. Это очень интересная работа, которая начала разворачиваться, и в этой работе принимал участие Фома Тимофеев.[1] Оказывается, один из членов Комитета, уже умерший ныне, такой Индутный, написал воспоминания. Мне прислали ксерокопию этих воспоминаний, которые хранятся в архиве ЦК партии Белоруссии (воспоминания были написаны в семьдесят втором году)... о деятельности «Берлинского комитета ВКП (б)», и там подробно рассказывается о деятельности Фомы Тимофеева, который, оказывается, был видной фигурой: он осуществлял связь этого «Берлинского комитета ВКП (б)» с английскими и французскими военнопленными. Печатались листовки, листовки эти печатали в Бухе, на квартире Н. В. Тимофеева. Квартира Тимофеева была явочной квартирой для связистов Берлинского комитета. Ну, в общем, не буду занимать вашего внимания долго. Это чрезвычайно интересная и малоизвестная страница деятельности нашего подполья в Германии во

[1] Фома — домашнее имя старшего сына Н. В. Тимофеева-Ресовского. Тимофеев Дмитрий Николаевич (11 сентября 1923, Москва — 1 мая 1945, концлагерь Эбензее), студент Берлинского университета. URL: https://ipaattravel.ru/foma.htm (дата обращения 12 июня 2023).

время войны, сорок третий — сорок четвертый год. В конце сорок третьего года эта группа была выдана провокатором, и бóльшая часть членов Комитета, те, которых знал провокатор, попали в лапы гестапо, в том числе Фома Тимофеев. По отзывам разных людей, которые приводятся в этих воспоминаниях, он вел себя чрезвычайно стойко, до конца стойко, никого не выдал, был брошен потом в Маутхаузен, где и погиб. Я вам скажу откровенно, я даже... я о многом как-то догадывался или, там, пытался вообразить, но не представлял себе степени участия Фомы Тимофеева в этой организации, его авторитета и такой светлой и восторженной памяти о нем со стороны членов Берлинского комитета. Людей военных, взрослых. Часть из них погибла тогда в гестапо, часть осталась жива, в частности, полковник Бушманов, который перед смертью просил Иконникова и Кучерявова, да и остальных членов организации узнать подробности судьбы Фомы; они не знали, какова его судьба, потому что гестапо всех изолировало друг от друга. И родители не знали об этом обо всем. Те материалы, которые сейчас открылись передо мной, они были неизвестны ни отцу, ни матери, ни Андрею. Они неизвестны, и только сейчас они начинают открываться. Часть этих воспоминаний была напечатана, бóльшая часть ещё не опубликована. Я в книжном издании, успел, вроде бы, немножко об этом рассказать.

— В тридцать седьмом году Зубр из двух возможностей: вернуться в Москву и быть репрессированным или остаться в Берлине и продолжить научную работу избрал последнее. То, что советский подданный уцелел и не был схвачен нацистами, воспринимается как чудо. Как же удалось Зубру это чудо? Какими документами и сведениями о военном периоде жизни Зубра Вы располагаете?

— Ну, вы знаете, наше представление с вами о фашистской Германии — это в основном представление, связанное с войной и со всей антифашистской литературой. Для того, чтобы представить себе, а как же было в Германии до войны, мне самому пришлось проделать большую психологическую работу, и оказалось, что там, внутри, в Германии представление о Советском Союзе и о взаимоотношениях с Советским

Союзом было в то время несколько иное, чем нам это кажется. Мы забываем о том, что продолжались ещё дружественные отношения между Советским Союзом и Германией. Вплоть до самой войны немецкие летчики обучались у нас в военных училищах, вплоть до сорок первого года. Под Воронежем были военные училища, в которых обучались немецкие летчики. Существовали военные лаборатории, в которых работали немецкие специалисты, и так далее. А кроме того, были... все время происходили разного рода переговоры, встречи. Риббентроп приезжал, как вы знаете, обнимались, целовались, заключали всякие пакты и так далее, так что для моего героя, который пребывал там, отношения с Советским Союзом у фашистской Германии не воспринимались, как враждебные отношения. Он не считал, что оставался во вражеской стране. И институт, в котором он работал, продолжал оставаться советско-германским институтом. И он оставался там не один, там была семья Царапкиных и многие другие советские специалисты. И они все оставались советскими специалистами, с советскими паспортами. Он продолжал пребывать как бы в командировке в стране, которая не порывала никаких отношений с ним, в стране весьма дружеской, гораздо более, казалось, дружеской, чем Англия и некоторые другие страны. То, что он остался там, я считаю правильным. Это счастье, понимаете, что он уцелел. Вернись он к нам в тридцать седьмом году, то, конечно бы, с его характером, с его биографией он погиб бы. Его брат один к тому времени был репрессирован в тридцать четвертом году, второй брат был тоже репрессирован в тридцать седьмом году, брат его жены Елены Александровны был тоже репрессирован в тридцать седьмом году, все были расстреляны, вот и решай после этого... Или, например, что его ещё, конечно, обескураживало... Работал у него там же, в Бухе, ещё один советский видный генетик, Василий Иванович Слепков (Василий Иванович, по-моему. Не помню). Слепков, который был отозван в тридцать седьмом, отозвали его в Москву, он уехал и в тридцать седьмом году был расстрелян. Один из его сотрудников! Так что, как понимаете, обстановка была совершенно однозначная. К тому времени репрессии, особенно среди био-

логов, энергично проводились, и мы знаем, что погибали один за другим крупнейшие наши биологи: Карпеченко, Филипченко, Левит, Агол и другие, а несколько позже погиб и такой великий мировой ученый, как Вавилов Николай Иванович. Так что накануне, в общем, гибели (только смерть, очевидно, я так думаю, спасла его, и это не только мое убеждение) Кольцов подвергался уже совершенно определенным репрессиям, он написал Тимофееву предостерегающее письмо. Так что вся эта обстановка, конечно, была совершенно ясной и очевидной для Николая Владимировича. И я думаю, что решение хотя было и тяжелым, но было правильное. Я хочу сказать по этому поводу, что я никогда не беру на себя права осуждать человека за подобного рода решение. Жизнь человеческая коротенькая, и человек имеет право жить там, где он хочет. Бунин уехал от нас и жил во Франции, и слава Богу, что он прожил после этого большую жизнь и много создал прекрасных вещей. И Куприн. Я боюсь, что если бы они остались в России, неизвестно, какова была бы их участь. Так что к этим вещам вот такое у меня отношение.

— Нет ли в Ваших планах работы над сценарием или для кино, или для театра по роману «Зубр»?

— Нет, у меня нет никаких планов. Я знаю, что студия научно-популярных фильмов, кажется московская, снимает сейчас большой фильм, называется «После Зубра», документальный фильм.

— Можете ли Вы назвать личность ученика Зубра, написавшего на него донос? Жив ли этот человек?

— Не могу.

— Назвать гонителя Ресовского Вы не решились. Что, нужен судебный процесс типа Нюрнбергского? В условиях принятой нами судебной системы это невозможно. Нет статьи. Но тогда ведь все может повториться и повторяется. Каков же должен быть выход общественному праведному гневу?

— Ну... по поводу того, что я не решился назвать. Мне не нравится такая формулировка. Вы знаете, я дал слово этому человеку, так? Значит, вы что же, считаете, что я не решился нарушить слово? А вы как считаете, что можно решиться нарушить слово? В каких обстоятельствах человек может и дол-

жен нарушить свое слово? В каких? Я считаю, что нет таких обстоятельств. Я дал ему слово, он мне рассказал, рассказал вещи, конечно, горькие и постыдные, неприятные, но... слово есть слово. Вот. Что касается... э-э-э... что нужен, мол, судебный процесс. Да, это вопрос очень серьезный и трудный и для меня не совсем ясный. Я считаю, что, очевидно, нам надо как-то определить свое отношение к доносчикам, к тем, которые калечили чужие жизни, к тем, которые истязали, губили людей. Надо определить это отношение. У нас действительно не было ведь осуждения, покаяния.

И... какие-то процессы, наверно, нужны. Вот вы меня спросите, как это все делать. Кого судить и как? Никого не судить. Это не просто. Я хочу вам сказать, что мы, конечно, за последние годы, и последнее время в особенности, мы с каким-то тайным облегчением готовы все свалить на Сталина, на Берию, на Ежова, забывая, что во всем этом участвовали тысячи, может быть, десятки тысяч людей. Не простыми исполнителями, не просто безропотно исполняя приказы, но весьма инициативно это делая. И, конечно, они виноваты. Но вина распространяется и дальше. Виноваты не только тысячи, виноваты миллионы, виноваты мы все, потому что одни молчали, другие голосовали, третьи соглашались, поддакивали. И вот где ощущение нашей вины во всех тех нарушениях, преступлениях, искажениях жизни, какие были? Ощущение вины собственной важно, а его нету. Вот фильм «Покаяние», в частности, об этом. Необходимо ощущение вины всех нас, потому что мы отвечаем за все то, что творится в нашей стране, и должны чувствовать эту ответственность, потому что это, понимаете, это слишком легко и бессовестно сваливать вину на небольшую группу людей и чувствовать себя непричастными ни к чему. Вот такое мое мнение.

— Почему, по Вашему мнению, почти никто из виновников травли и репрессий не ответил за это?

— Ну, потому что у нас так произошло, двадцатый съезд был, двадцать первый, начали мы это дело делать вроде бы, а потом все это прервалось. Но вы другое мне скажите: почему у нас в России, хотя бы в России, почему никто не вышел на площадь и не сказал, что «люди, я виноват, я уничтожал,

я истязал, я преследовал зря невинных, невинные люди пострадали из-за меня. Вяжите меня, бейте меня, я виноват»? Как же так, раньше люди каялись, так? приходили с покаянием, били себя в грудь, рвали на себе рубаху, признавались в своей вине, а сейчас, вот даже после двадцатого съезда, двадцать первого съезда партии, когда перед всеми открылось, что неправедно жили, неправедно делали, никто не покаялся всенародно. Вот это ощущение того, что это меня не касается, что я ни при чем, понимаете, вот это усыпление совести — это страшное явление нравственной нашей жизни.

— Бывает, автор пишет о людях, с которыми не был знаком лично, о событиях, в которых не участвовал; возможно искажение фактов. Существует ли проверка достоверности малоизвестных фактов в издательствах?

— Речь идет о повести. Повесть эта — не документально-историческое исследование, а это повесть, так? в котором (sic!) автор всегда допускает какие-то домыслы, есть какие-то толкования собственные, так что никаких фактов тут издательство не может проверять и не в состоянии проверять за исключением чисто, понимаете, каких-то... ну, таких: даты там, фамилия, имя, отчество... цитаты, стихи — вот это проверяют.

— В романе «Зубр» Вы высказали серьезное обвинение в адрес академика Дубинина. Основания, упомянутые в романе, явно недостаточные.

— Ну, вам недостаточные, мне достаточные. Ничего не могу сказать. Я с ним лично говорил и просто записал нашу беседу.

— Будете ли дорабатывать «Зубра» с учетом впечатлений, полученных в этой поездке?

— Дорабатывать не буду. Может быть, что-то ещё вставлю, я писал не биографию, я писал повесть. А повесть, она имеет свои законы. Там есть ритм определенный, есть какие-то... э-э-э... сюжет, и это не гармонь, которую можно растягивать, как хочешь. А если делаешь вставку, то обязательно ритм повествования нарушается, и это все очень дело рискованное. Поэтому вот дорабатывать, ну вот с учетом впечатле-

ний новых не собираюсь, вот я там написал, что на Сулгуле растут ели, вот вместо елей я теперь поставлю «дикая вишня», вот и все.

— Как складывалась жизнь Тимофеева-Ресовского в его последние годы?

— Вот об этом я подробнее рассказал в книжном издании, но там были причины, по которым я в журнальном варианте не вставил, а в книжном издании я это сделал.

— Трудно поверить, что немцы удержались от проведения опытов на людях по радиационной генетике.

—Я ничего не знаю по поводу этого, вот недавно я был в Германии, в ГДР, заезжал в Бух, там собрал ученых, которые работали и работают до сих пор в лаборатории Тимофеева-Ресовского. И я их спросил: возможно ли было, что здесь, в этом институте, проводились опыты, связанные... на людях по радиационной генетике. Они мне сказали: «Это исключено. Здесь проводились опыты всегда на дрозофилах». Здесь, понимаете, все видно по отчетам и по всему видно... э-э-э... по всему оборудованию, это вся лаборатория, приспособленная к работе на дрозофилах. Значит, хочу вам по этому поводу сказать следующее: вот этот вопрос тоже характерный. Я получил несколько писем от лысенковцев и от некоторых других людей, которые пишут, и они пишут во все инстанции и высказываются всюду, что как же так, человек жил и работал в фашистской Германии, чтобы он не работал на фашистов, на расистов, понимаете, этого быть не может. Явно он работал на них. Вы, другой пишет, вот Вы докажите, Вы неубедительно в книге об этом говорите, Вы никак не доказали, так? Третий пишет: Тимофеев-Ресовский явно преступник, он ни разу не смог доказать, что он не работал на фашистов. Ну, по этому поводу можно было бы так, чисто формально сказать, что наша госбезопасность, знаете, которая занималась тщательно проверкой этого человека, она единственное что смогла установить и за что его осудили: за невозвращение. Ничего другого ему не было предъявлено. Так что вы, дорогие господа, могу сказать, вы просто не доверяете нашему КГБ. Ну, в этих вопросах нашли бы уж, если что-то было.

Но дело не в этом даже, а дело в том, что это та пресловутая система, которая начала ещё работать в тридцатые годы, система Вышинского, когда человек должен был доказывать, что он не виноват. Докажите, что вы не виноваты, докажите, что вы не преступник. Ведь правосудие наше и все мы должны исходить из другого. Мы должны... раз вы пытаетесь какое-то обвинение человеку предъявить, вы должны факты привести. Никто, никогда, нигде из этих лысенковцев, из этих всех людей, которые выступали и писали об этом, никто ни разу не привел ни одного факта, который порочил бы Николая Владимировича в этом вопросе. Немцы, они просто руками разводят, они не понимают, как это можно такого рода обвинения предъявлять, исходя из репутации научной человека, из всего того, что делалось и работалось в этом институте.

— Каются только те, кто не очень-то и виноват.

— Это у вас, понимаете, странное впечатление о покаянии, каялись люди, которые, во всяком случае, вот мы знаем даже из классики, почитайте Достоевского «Мертвый дом», как так? Каялись: «я убивец, я убил». Это всегда было. Совесть замучит, должна замучить человека, совесть загрызает. А те, кто пытался бороться, их и репрессировали. Ну и что? Правильно, почти как естественный отбор: выживает тот, кто молчит. Но... Это как у нас один писатель сказал, что в период гласности надо молчать. Но можно, конечно, и так жить, жить с такой психологией, с такой философией, лишь бы выжить. Ну, выживает тот, кто молчит. Во-первых, это тоже сомнительно, а во-вторых, мы говорим о человеке, мы говорим о совести, мы говорим о нравственности, так? А «выживает тот, кто молчит» — это относится к совершенно другой категории людей.

— Даниил Александрович, в произведении «Зубр» в определенной степени поощряется тот факт, что ученый может быть далек от политических вопросов. Он может быть великим ученым, и все. Его могут не беспокоить такие вопросы, как: в чьи руки попадут достижения? Я думаю, что такая оторванность служит причиной появления сахаровых. Ваша за-

дача — формировать в молодом поколении ученых мысль о том, что ученый должен быть политиком, а не наоборот. (Ишь, как!) Молодой ученый.

— Ну, спасибо, что Вы мне сформулировали мою задачу. Да-а... В чем моя задача: формировать... («Очень молодой, наверное») Да-а, категоричен. Ученый должен быть политиком. Вот, между прочим, Сахаров и был политиком. Я думаю, что ученый должен быть ученым и имеет право быть ученым. И никому — никому, я считаю, не дано право указывать человеку, особенно ученому, каким он должен быть, что он должен: заниматься политикой, не заниматься политикой. Множество великих ученых не были политиками. И что? Вот Вернадский, Владимир Иванович Вернадский, гордость нашей науки. Когда ему... его попросили быть президентом Украинской Академии наук, он подумал, согласился, но при этом вышел из кадетской партии, считая, что ученый, президент Академии наук, не имеет права быть в партии какой бы то ни было. Это... для меня эта точка зрения и этот поступок заслуживают уважения. «Он может быть великим ученым, и все». Да, может быть великим ученым, и все. Другое дело, что от политики не уйдешь. Вот я, в частности, хотел это показать на судьбе моего героя. Он уходил от политики, а политика его настигала. Вот его сын погиб, вот... вот он попал в один переплет в Германии, в другой переплет у нас попал... От истории не уйдешь и от политики в ней не скроешься. Но обязывать человека и говорить ему: «ты должен заниматься политикой» неправильно, я думаю, что у нас мало, не хватает великих ученых, потому что наши ученые много занимаются политикой.

— Все равно возникает сомнение, понимаете, вот в той гражданской позиции, я бы сказал шире, общечеловеческой позиции, которая в его поступках, в его деятельности была заявлена. Ведь действия всегда более красноречивы, чем слова.

— Какие действия?

— Сам факт, скажем так, приятия, работы при этом режиме...

— Что-что? Какой?

— Сам факт работы в условиях вот этого режима — это уже его поддержка.

— Как? Почему работы? Он был командирован и работал там, оставаясь командированным советским человеком с советским паспортом. Так? В этом смысле юридически тут трудно что-нибудь возразить. Теперь, что... Я понял Ваш вопрос, понятно. Теперь, что касается таких примеров, как Эйнштейн и другие. Эйнштейн не хотел уезжать из Германии. И Бор не хотел уезжать, Нильс Бор. Эйнштейн уехал потому, что его преследовать стали лично, как еврея. Другие великие ученые, немецкие физики, не уехали из Германии, их не стали преследовать. Не уехал Планк, не уехал Лауэ, не уехал Гейзенберг, они немцы, их не преследовали, они продолжали жить и работать. Хотя они были, и Планк, и Лауэ, как известно, антифашистами, так?

— Но остается сомнение, возможно поступало предложение сотрудничать с фашистами. Но это не вопрос, это сомнение.

— Но тем не менее Вы это высказали. Я Вам могу сказать по поводу этого, я здесь тоже высказывал какие-то свои размышления по этому поводу, для меня тут тоже нет такой уже железной очевидности во всем этом вопросе. Но начиная с сорок первого года он человек был интернированный, никуда уже ехать не мог из Германии, так что тут положение безвыходное. Тут не надо становиться в позу судьи, так? Это нам... мы все привыкли судить всех. А Вы встаньте в его положение, вникните, попробуйте себя представить. Вот я, например, проделал очень большую внутреннюю работу для того, чтобы представить с той стороны фашистскую Германию, с которой... которая мне была вся, понимаете, противна и противопоказана как солдату, который воевал всю войну. И для меня было решающим, например, то обстоятельство, что после сорок пятого года, после нашей Победы человек, который мог уйти туда, мог уехать туда, так, тем более что и этот сын его был в Маутхаузене, который в Австрии находился, он не ушел, не уехал, остался, оставил всю свою лабораторию, и это в значительной мере объясняет и оправдывает

всю его позицию во время войны, зная прекрасно, что последует за этим и что последовало.

— Как Вы вышли на этот пласт материалов о Зубре? При том тотальном подавлении жил в Берлине русский человек, помогал Сопротивлению, работал, прятал людей. Правдоподобно ли это? Спрашиваю по просьбе товарищей, они меня уполномочили.

— Ну, постараюсь ответить. Первый. Насчет вышел... как я вышел на этот пласт материалов? Ну, я вам сказал, это были... э-э-э... личное знакомство, его личные рассказы, после этих личных рассказов я ездил в Германию, беседовал там (если вас немецкий период интересует), я беседовал там с людьми, которые его знали, немецкие ученые, крупные среди них ученые, может быть, например, вы знаете такого: Роберт Ромпе... вот... член ЦК француз... э-э-э... немецкой компартии; или Штубе, так... Это все ответственные люди, которые документально подтвердили: да, вот так было, вот он пел, понимаете, в Берлине шел, пел во время войны русские песни. Почему вы... я спрашивал Роберта Ромпе, я там пишу об этом: «Как же так, я сам... как же его не забрали, как его не схватили?» Не схватили, не забрали, он уже был великим ученым. Они не могли его забрать, понимаете? Вот... Это надо понять, каждые эти последние годы вносят документальные подтверждения. Вот сейчас я говорил товарищам: «Nature», последний... в одном из последних номеров журнала «Nature», самый авторитетный журнал научный, так, английский журнал, в номере за 29 апреля напечатана статья Перуца, лауреат Нобелевской премии, где он говорит о том, что знаменитая книга Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики», она лишь популярно излагает ранние работы Тимофеева-Ресовского; в журнале большая статья с фотографией Тимофеева-Ресовского. То есть, понимаете, это для нас открылось новое имя. Для нас! А для всего Запада это был великий ученый давно, с тридцатых годов. Ведущий генетик был Запада.

— Тема «Зубра» отличается от Ваших предыдущих тем. Не собираетесь ли Вы продолжать эту тему? Ваш интерес — только личность и судьба Тимофеева-Ресовского; есть другие значительные личности — Вавилов, Кольцов и другие.

— Да, есть, конечно, мало ли есть прекрасных личностей, но я писал о том, кого я любил.

— Товарищи! Товарищи! Значит, я считаю необходимым сказать... сказать большое спасибо Даниилу Александровичу, что он счел возможным выбрать время для того, чтобы нас немножко просветить в этих вопросах и в знак большого уважения к его труду подарить ему зубра. Ещё одну секунду, одну секунду!

✧✧✧✧✧

Даниил Гранин

ОГРОМНЫЙ ЧЕЛОВЕК[1]

В предисловиях обычно рассказывают об авторе книги и о том, почему ее надо читать, чем она хороша.

Здесь есть вступительное сердечное слово С. Шноля и статья В. Иванова про научные заслуги автора.

Предисловие мне показалось лишним. Тем не менее, я его пишу.

Воспоминания Н. В. Тимофеева-Ресовского выходят вторым изданием. Я прочитал ее, и вновь впечатление было настолько сильным, что мне захотелось кое-что рассказать читателям.

Не знаю, как будет дальше, но в конце нашего века книги стареют как никогда быстро. Меняются взгляды, оценки, интересы.

С этой книгой такого не произошло.

После моей повести о Зубре появились новые материалы о нем. К сочиненным героям годы ничего не добавляют, личность же историческая продолжает обрастать документами, сведениями. Научные работы Зубра живут, и энергично, биография его пополняется, такое впечатление, что он не отдаляется, а приближается к нам.

Книга эта не написана, она наговорена.

Ни журналист, ни писатель не обрабатывали, не доводили ее текст.

К счастью.

Зубр разглядывал свою жизнь с тем же вдумчивым интересом, как и прочие живые объекты своих исследований.

С. Шноль справедливо замечает, что Николай Владимирович был выдающимся рассказчиком. Я бы добавил, что его отличает не логика, не сюжеты, а его повествование кажется сбивчивым, его ведут ассоциации.

---

[1] ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-107. Оп. 6. Д. 16. Л. 1—4; опубликовано в: *Тимофеев-Ресовский Н. В.* Воспоминания: Истории, рассказанные им самим, с письмами, фотографиями и документами / сост. и ред. Дубровина Н. М., 2000.

Ассоциативность мышления составляет своеобразие его рассказов.

Говорят, стиль — это человек. Стиль НВ соответствует внутренней свободе его мышления, его поведения, его поступков.

Это был самый свободный человек, какого я встречал, и спустя годы он остается в памяти самым свободным и самым независимым.

Именно это раздражало критиков, когда вышла повесть «Зубр». Ее восприняли как вызов и справа, и слева.

В то время нападки доставили мне много неприятностей.

Научные достижения НВ не интересовали вохровцев из «Нашего современника», «Молодой гвардии» и прочих отрядов казарменной идеологии. Возмущала личность НВ, легкость с какой он перешагивал через гитлеровский режим, и сталинский также, оставаясь всегда самим собою.

Упрекали за идеализацию героя, за согласие с его идеологией.

Да я принимал его, и принимаю его воспоминания, если любишь человека, то любишь его всего, со всеми его особенностями. Он, например, охотно вставал, когда исполняли гимн Советского Союза и подпевал своим зычным голосом. Это был его принцип — законопослушность.

Личность не может складываться лишь из приятных нам черт, тогда уже не личность, это уже не любовь, а изжога.

Книга «Воспоминания» не просто мемуары, она дает неизвестный доселе исторический материал для понимания XX века.

Тем более что мы не имеем истории нынешней России.

НВ участвует в Гражданской войне, воюет в банде анархистов, рассказывает о Москве двадцатых годов, мы видим становление генетики, Московский университет.

Приходит к власти Гитлер, а НВ, оставаясь советским ученым, продолжает свои научные работы в Берлине.

Там, где Зубр, там всегда центр исторических событий, там совершаются главные взлеты и падения, открытия и трагедии эпохи...

Обочина не его местопребывание.

Вокруг него вертится история, вращается мир.

Таково удивительное свойство этой натуры.

Послевоенный ГУЛАГ, атомная физика — ничто не миновало его. И обо всем этом рассказано совсем не так, как принято.

Кроме истории — это рассказы о том, как получается ученый — он сам. Процесс отнюдь не линейный. Получается не просто накоплением знаний, опыта, поисками закономерностей. Ученый — это не только ученый. Ученому помогает отнюдь не пресловутая одержимость. У НВ, скорее, всё наоборот — ему необходима полнота жизни, огромный аппетит к ней. В нём не утихает озорство, лихость и энергия мысли.

Впрочем, у него все огромно — и зычный голос, умение и выпить, и пожрать, страсть к музыке, физическая мощь, огромна его память, его любовь к общению, к «трепу».

Среди всех этих шумных, блестящих дарований, какими наделила его природа, было одно, что так ясно представлено в книге — он любил размышлять, то, чем так редко (его упрек) заняты наши естественники.

Одним из результатов этих его занятий была простота изложения.

Самые сложные проблемы он излагал как нельзя просто.

Я давно заметил, что тот, кто хоть раз слышал выступления НВ, запомнил его идеи если не навсегда, то надолго.

Он умел врезаться в память красотой простоты. Это сохранилось в книге — образность, его сочный язык, та доступность, что всегда отличала великих ученых.

Время утвердило его в коротком списке наших ученых мирового класса — таких как Менделеев, Павлов, Вернадский, Сахаров...

Сюда можно добавить, но не убавить.

Со своими гениями Россия обращаться не умеет. При жизни НВ не получил ни звания академика (отечественного!), ни лауреатства, никаких наград, одни лишь шишки да синяки, лагерную пеллагру да ссылку. А между тем в его воспоминаниях нет злобы, ни мрачности, ни оскорбленного чувстве. Я же до сих пор ловлю себя на желании ткнуть носом

в его всемирную славу тех партийных громил, что травили его в Обнинске в последние годы его жизни.

Чего стоит его «Слово о душе и духе», его замечания о добре, о происхождении жизни на Земле. К его словам о душе стоит прислушаться, ибо это слова человека, который проник в сущность живого, может, глубже других. Ровно как и прочим его взглядам. Читая его, вновь и вновь поражаешься как мудро и просто устроен мир.

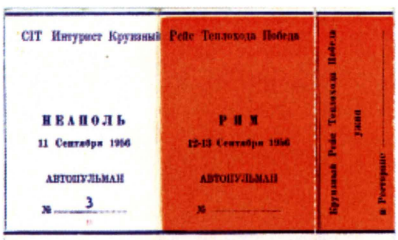
И весело.

В его размышлениях всегда добавлена улыбка.

Книга «Воспоминания» – книга Мыслителя, чтение ее доставляет эстетическое наслаждение своей лёгкостью и глубиной, юмором и новизной и честным рассказом об этой огромной жизни огромного человека.

✧✧✧✧✧

Теплоход «Победа». Почтовая открытка. https://fleetphoto.ru/photo/321998/?vid=4500 (дата обращения 12 июня 2023)


CIT Интурист Круизный Рейс Теплохода Победа

НЕАПОЛЬ
11 Сентября 1956
АВТОПУЛЬМАН
№ 3

РИМ
12-13 Сентября 1956
АВТОПУЛЬМАН
№

Круизный Рейс Теплохода Победа
1956
в Ресторане

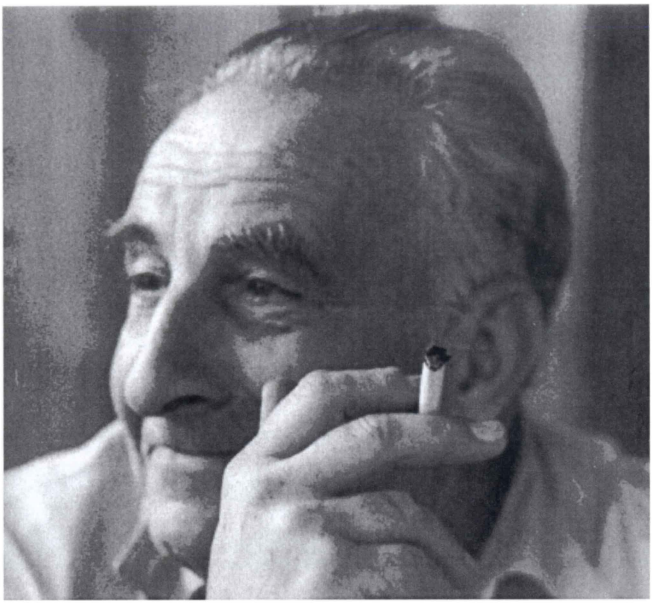
CIT Intourist Crociera s/s Pobeda
1956

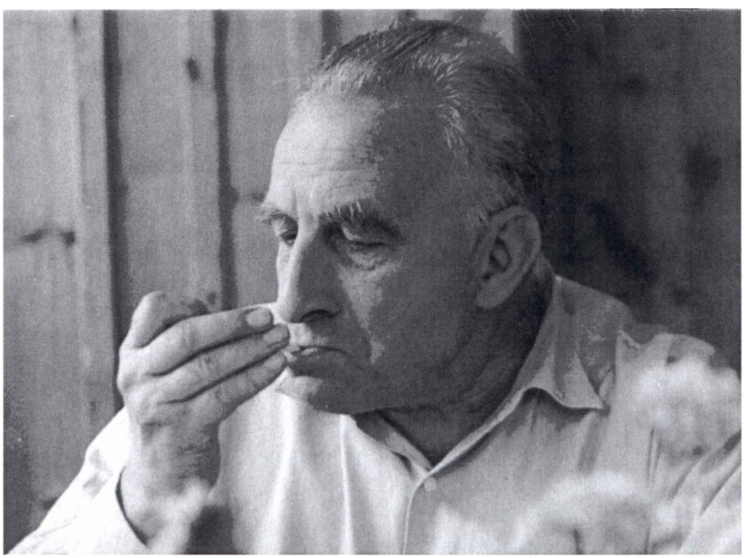
NAPOLI
11 Settembre
AUTOPULLMAN
N.° 3

ROMA
12-13 Settembre
AUTOPULLMAN
N.°

Crociera s/s Pobeda
PRANZO AL
Ristorante della Stazione

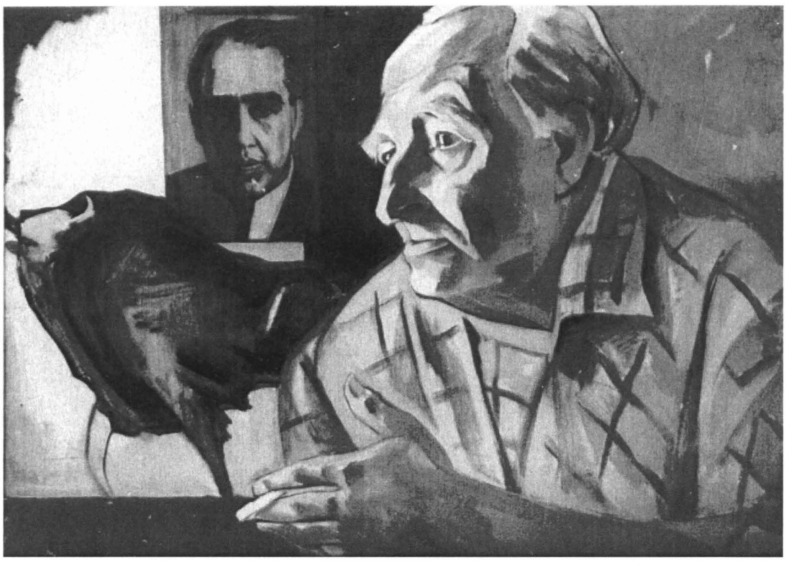
Билет Д. А. Гранина на автопульман в Неаполе (11 сентября 1956) и Риме (12—13 сентября 1956 г.). Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной





Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский.
Миассово. 1962. Фото: Р. Ю. Пасечник.
Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной

Игра в городки.
Слева направо: Гагарин, Н. В. Тимофеев-Ресовский, Дина Вольф, Ольга Павловна Конзак, А. Всеволожский, В. И. Селинов, Всеволод Добужинский (Додя), С. И. Мамонтов, Соловьев, Олег Цингер (выбивает городки). Берлин-Бух. Весна, 1930.
Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной



«Три зубра». Миассово. 1961.
Фото с картины художника Р. И. Габриэляна.
Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной

Тимофеев Дмитрий Николаевич (Фома), старший сын Н. В. Тимофеева-Ресовского. Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной

Министерство Связи СССР

ТЕЛЕГРАММА

1946

Бланк № 33

Принята: 1839 ПЕРЕДАЧА

Передана: № связи

Адрес: =ЛЕНИНГРАД МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ 8 КВ 14 МАЙОРОВОЙ

2 МСК/279 ТХ ПОБЕДА 549

20 10 1000

Служебные отметки:

=ЗАДЫХАЮСЬ ПЛИВЕМ ИЗ ЭЛЛАДЫ ПО СРЕДИЗЕМНОМУ ТЕЛЕГРАФИРУЙ МОСКВА МОРФЛОТ ТЕПЛОХОД ПОБЕДА ГРАНИНУ ЦЕЛУЮ

Тип. 7 УКЛ

Министерство Связи СССР

ТЕЛЕГРАММА

1956

Бланк № 59

Принята: 1112 ПЕРЕДАЧА

Передана: № связи

Адрес: =ЛЕНИНГРАД МАЛАЯ ПОСАДСКАЯ 8 КВ 14 МАЙОРОВОЙ

ЛНГ 35/67 РАДИО ТХ ПОБЕДА

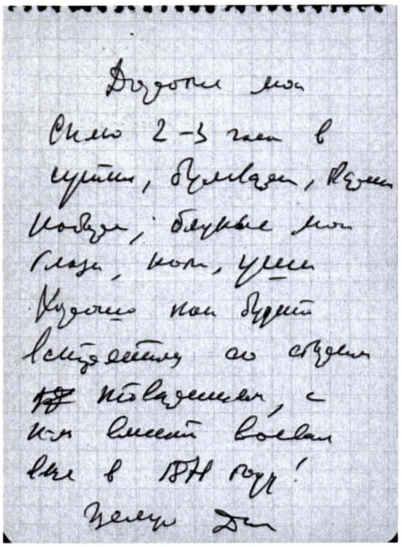
2019 18 25 2000 ЗАМ РАДИО

Отмечено:

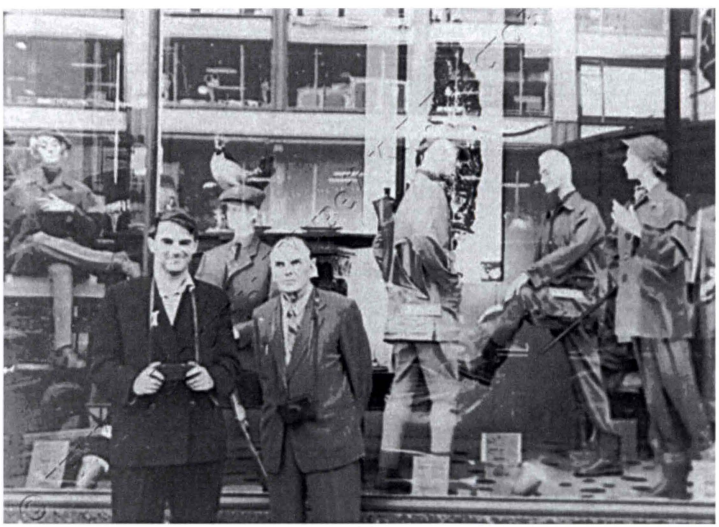
=ПОЕХАЛ ШВЕЦИЮ СКУЧАЮ БЕЗ ТЕЛЕГРАММ БУДЕМ ЛЕНИНГРАДЕ ТРИДЦАТОГО УТРОМ ЦЕЛУЮ ЦЕЛУЮ

Тип. 7 УКЛ

Телеграммы Д. А. Гранина с теплохода «Победа» домой.
Сентябрь, 1956.
Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной



Письмо Д. А. Гранина
из Парижа домой.
Сентябрь, 1956. Личный архив
М. Д. Чернышевой-Граниной



К. Г. Паустовский и Д. А. Гранин у витрины магазина.
Стокгольм. Сентябрь, 1956.
URL: https://museum-online.moscow/entity/OBJECT/iss3_paust_11468?index=5&paginator=entity-set&entityType=EXHIBITION&entityId=iss3_paust_3537345&attribute=objects
(дата обращения 12 июня 2023)

Слева направо: Д. А. Гранин, Л. Н. Делекторская,
К. Г. Паустовский, Е. И. Катерли, Л. Н. Рахманов.
Париж. Сентябрь, 1956. Фото: Элен Адан (Е. А. Мосолова-Адан).
URL: https://blog.bibliotheque.inha.fr/fr/posts/fonds_helene_adant-2.html (дата обращения 12 июня 2023)

Л. Н. Делекторская, Д. А. Гранин.
Париж. Сент-Женевьев-де-Буа.
Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной

Н. Першина. Миассово. 1959.
Благодарим Н. Першину за предоставленную возможность использовать фото её работ

Герои и прототипы

✧✧✧✧✧

М. Д. Чернышева-Гранина

КРУИЗ ВОКРУГ ЕВРОПЫ

Выехать в Европу из СССР в 1956 году значило больше, чем полететь на Марс. Именно с середины 1950-х годов стал возможен зарубежный туризм. В свои первые круизы советские люди смогли поехать на теплоходе «Победа».[1]

После Великой Отечественной войны в 1945 году корабль вошёл в состав британского флота, но позже по репарации был передан СССР. Судно получило название «Победа» и стало работать в составе Черноморского пароходства. В середине 1950-х оно числилось среди лучших судов России. В 1956 году «Победа» совершила первые круизы вокруг Европы.

По воспоминаниям сына Хрущева[2] Сергея[3], его отцу с большим трудом удалось уговорить руководство страны разрешить эти поездки. Более других сопротивлялись финансисты. Курс доллара к старому дореформенному рублю в нашей стране был установлен 1 к 4, но поскольку нефтью

---

[1] «Победа» — грузопассажирское судно, теплоход, построено по заказу немецкой судоходной компании HAPAG на верфи «Schichau Werft» в Данциге в 1928 г. для эксплуатации на линии Европа — Центральная Америка — Вест-Индия. В первый рейс вышло 29 декабря 1928 г. под названием «Магдалена» (Magdalena). Экипаж 116 человек, обслуживающий персонал — 48, пассажировместимость — 432 человека (каютные) плюс 150 (палубные). Длина 153,9 м, ширина 18,5 м, высота борта: 9,0 м; скорость 14,0—15,5 узлов. В 1940—1945 гг. плавбаза ВМФ Германии в Киле. 9 июня 1945 г. передано в британский флот; 18 февраля 1946 г. по репарации — в СССР, где получил новое наименование: «Победа». Показана в художественном фильме «Бриллиантовая рука» (Мосфильм, 1968). Цит по: URL: https://fleetphoto.ru/photo/195374/? (дата обращения: 12 июня 2023).

[2] *Хрущёв Никита Сергеевич* (1894—1971) — советский партийный и государственный деятель. Первый секретарь ЦК КПСС (1953—1964). Председатель Совета министров СССР (1958—1964).

[3] *Хрущёв С. Н.* Никита Хрущев. Реформатор. М., 2010. Цит по: URL: http://pro3001.narod.ru/001/reformator.htm#t85 (дата обращения: 12 июня 2023).

мы в то время ещё не торговали, приток долларов был невелик. Министерство финансов долго сопротивлялось, ведь предстояло менять по тому же курсу рубли на фунты стерлингов и марки; наконец, было решено каждому выезжающему за рубеж на всю поездку поменять 35 рублей на валюту. Интересно, что благодаря этому решению Министерства финансов у государства появился новый источник валюты — то, что зарабатывали за рубежом наши деятели культуры и науки.

Теплоход совершил три поездки по маршруту из Одессы в Ленинград.[4] На борту находилось 423 человека. Кто же был этими счастливчиками? Половина интеллигенция — художники, писатели, театральные работники, журналисты. Они занимали второй и третий классы. Каюты «люкс» и первый класс занимали номенклатурные работники, заместители министров, крупные хозяйственники.

В течение 25 дней пассажиры теплохода посетили шесть стран из них пять капиталистических.[5] Всё было внове. В нашем домашнем архиве сохранились и папины открытки (это была непозволительная трата полученной валюты), и телеграммы. Телеграммы с корабля были бесплатными. Первая открытка пришла из Одессы, проникнутая чувством неверия, что теплоход отплывает и удастся увидеть всё обещанное. Следующая — из Стамбула, это уже текст путешественника; и, наконец, из Парижа, где уже вспоминается прошлая жизнь.

Одесса (открытка)

> «Последние минуты перед отходом теплохода. Пишу в порту. Сейчас трогаемся. Телегр. адрес: Одесса, Морфлот. Теплоход Победа. Целую, целую. Пошли в море».[6]

---

[4] Круиз «Вокруг Европы» на теплоходе «Победа»: первый из Одессы в Ленинград, второй из Ленинграда в Одессу, третий из Одессы в Ленинград. Д. А. Гранин участвовал в третьем круизе 4—30 сентября 1956 г.

[5] Посетили Болгарию, Турцию, Италию, Францию, Нидерланды, Швецию.

[6] Личный архив М. Д. Чернышевой-Граниной.

Стамбул (открытка)

«Вот минарет, на который я лазил. В нём 95 ступенек, каждая полметра. Держаться не за что и после этого у меня болят кости. А мулла бегает туда четыре раза в день и славит этим аллаха! Мы едем уже бог знает как долго. Пустыни, реки, домики, золото виноградников. Всё было — старый восток и новый и действительно чудеса его. И всё время жаль, что тебя тут нет. Это не письмо, а просто так. Тут много ишаков и на них Насреддины».[7]

Париж (письмо)

«Дорогие мои!

Сплю 2—3 часа в сутки, бульвары, мосты ... Бедные мои глаза, ноги и уши. Хорошо, как будто встретился со старым товарищем, и с ним вместе воевал ещё в 1871 году. Целую».[8]

Здесь намёк на его роман «Домбровский»; позднее эта книга называлась «Генерал Коммуны». Даниил Гранин начал писать его ещё в школе. Доставал карты Парижа, изучал их, знал досконально, как коммунары защищали Париж от немцев. Понятно, что первое посещение писателем Парижа — как возвращение к чему-то близкому.

Из Ленинграда поехали Николай Павлович Акимов, режиссёр Театра комедии, художник, Сергей Львович Цимбал, театровед, писатели Сергей Сергеевич Орлов, Елена Иосифовна Катерли, Леонид Николаевич Рахманов и Даниил Александрович Гранин. На теплоходе к ним присоединились Константин Георгиевич Паустовский и Расул Гамзатович Гамзатов, с которыми папа очень подружился.

Странно, что никто из писателей, кроме К. Г. Паустовского, Л. Н. Рахманова и Д. А. Гранина, не оставил воспоминаний об этом плавании. Судя по яркости их впечатлений, запомнились даже мелочи. Лучше всех о круизе 1956 года расскажут совершившие это путешествие, и мы предлагаем Вам познакомиться с удивительными событиями.

---

[7] Там же.

[8] Там же.

Константин Паустовский

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДНЕВНИК[1]

Отъезд в Одессу. Провожала Танюша, Галка, Дим.

4 сентября. В дороге. Синезерки. Детство. Сияющие, все в росе Брянские леса. Рыжие папоротники. Первые приметы осени. Киев.

Одесса. Канны, солнце, порт. Океанская белая «Победа», порт завален товарами. Сорная вода, иностранные флаги.

В город на такси. Аркадия, Дюк. Снова в порт. Долго не пускали старые сторожа. Бестолочь, заграничные паспорта.

Одиночество, уже скучаю.

Каюта II класса. Теснота. Койка, как шкаф.

Отвал о полночь. Шум волн, уходящие огни Одессы. Красный огонь Воронцовского маяка. Город, — «казалось, он в дали шумящей утопал».

5 сентября. Утро. В море. Хмурый цвет.

Днём открылись берега Болгарии — из охры и красной слоистой глины. Обрывы, леса, пустынность. Дикий мыс Калиакра с маяком. Курорты — уже Европа. Синева, горы в дубовых низкорослых лесах.

Варна. Барельеф Димитрова на молу. Уютный порт. Маленький город вроде Феодосии.

В город — ряды цветов, оживленные улицы, извозчики и автобусы с колоколами, похоронные афиши на стенах, чудесные дети. С Граниным, Катерли, Рахмановым и ленинградским театральным критиком Цымбалом. Много чудных лавчонок. Кафе на тротуарах. Возвращались вечером. Глухота и булыжник незнакомых улиц. Сон на палубе.

6 сентября. Проснулся в море. Качает. Ветер, серые облака, берегов не видно. Идём к Босфору. Шторм в шесть баллов.

---

[1] Публикуется по: *Константин Паустовский*. Европейский дневник // Смена. 1982. № 12. С. 26—28.

(Пишу это всё в Эгейском море — сказочном, с лиловой, мягкой, прозрачной водой. Голубой небесный дым и тихое золото облаков. Древние страны человеческой мечты. По левому борту — остров Лесбос, в белом пару, желтеющий нагими каменными обрывами. Серая земля масличных рощ. Волнение до слез.)

В конце дня открылся среди гор вход в Босфор. Два маяка на коричневых обрывах, а потом — нечто неописуемое по множеству живописных скал, маяков, руин, волн, лесов, собранных каким-то чудом в одном месте. Фелюги (как у Ван-Гога) — киноварь, зелень, лазурь. Форты.

Остановились в Каваках. Зурбаган. Соты домов, крыши из листьев винограда. Уют. Корабли. Закоулки. Турецкие девушки.

Карантинный врач на катере. Полицейские. Стали до утра на якорь. На спардеке с Граниным, Катерли, поэтом Орловым.

7 сентября. Пошли к Стамбулу. Причал у гостиницы. Гроздья домов, полицейские в белых касках.

Я — с ленинградцами. Турецкие журналисты (девушки), все в тёмных очках. Водопады солнца. Интервью, снимали. Переводил Гранин.

По улицам — джип с полицейскими (по просьбе посла, так как годовщина армянской резни). Всё завалено товарами, теснота, тысячи чувяк. Медники, овощные лавки. Ткани.

Галатский мост. Путаница и теснота рей, труб, лодок, вывесок, людей, закоулков. Пакетботы по Босфору, увешанные спасательными кругами.

Ипподром. Египетские обелиски. Змеи (медные). Голубая мечеть. Старый гурок с водой. Низкие светильники.

(Скутари — Искутар — лес кипарисов.)

Айя-София. Вход с переулка, запах сухого навоза. Сдавали аппараты. Зной.

Величие, прохлада, тишина. Гигантский невесомый купол, на арках десятков окон. Капище. 1400 лет. Архангелы, щиты с арабскими письменами (зеленые). Мальчик-журналист. По-французски.

Мозаика, кажется, византийская в проходе между стен.

Голос имама в мечети Сулейманио. Базары. Жандармы в пробковых шлемах и белых гетрах. Трамвай — первый и второй классы.

Приветствия. Студенты в кафе. Золотой рог. Омовение на улицах. Кладбища среди города.

Дворец Долма-Бахче. Канны. Вычурность. Прохладный, золотисто-пышный. Дымные зеркала, за окнами — пышные сады, розы, виден Босфор. Гарем. Потолок с хрустальными слезами. Наш гид — турок простой и веселый. «Суайе бьенвеню а Истамбул».

Усталость. Сераль. Сидел у входа в тени. Улочка около Археологического музея. Акимов.

Пера — улица Истеклял. Бешеное движение. Бешеные машины — шевроле. Писцы на улицах (на старых пишущих машинках). Турчанки в черном. Девочка в розовом. Воздушный поцелуй.

(До этого — где-то на окраине, у старых византийских стен. Работницы с табачной фабрики.)

Американский отель на столбах. Веера воды, газоны. Все это пересечено пустырями. Торговцы водой. Графины вместо пробок заткнуты лимонами. Кафе над Босфором. Оранжад. Кальян. Гранин и турчанка — «нязи!».

8 сентября. Проснулся в Мраморном море. Пароход втягивался в Дарданеллы. Сухие древние горы, ущелья, розовато-жёлтая каменистая земля Галлиполи. Цвет паленой бумаги. Ни одного деревца. Горячие бухты, фелюги.

Вышли в Эгейское море. Лиловая шёлковая вода. Шествие великих и древних островов. Лемнос. Лесбос. Колыбель человечества. Ветер с островов. Весь день в ослепительной синеве. (Собрание ленинградцев.)

9 сентября. Встал в 4 часа ночи, до рассвета. Входили в Саронический залив. Ночь, потом смутный сумрак. Пронзительные створные огни Пирейского порта (зелёный и красный)

Огни Пирея. Причалили. Корабли. Греческие полицейские — вполне интеллигентные красавцы. Автобусы разных

расцветок с гербами. Гид из России. Чудовищная жара — 39 градусов в тени.

Заливы около Пирея. Входят в ансамбль города. Олеандры — деревья. Слова Гранина о чужой красоте. Коттеджи.

Афины. Теснота. Могила неизвестного солдата.

Акрополь над городом. Сжалось сердце. Памятник Байрону.

В Акрополь по стёртым тысячелетним ступеням. Тон мрамора — топлёное молоко. Мутная прозрачность, отблески (слоновая кость). Мрамор всегда холодный. Афины внизу, в сухой мгле. На холмах среди города — какие-то руины, огромные ионические колонны.

Зной. Подобрал несколько кусочков мрамора. Родион Щедрин снимал меня. Храм Ники — Победы. Жёлтый сухой цветок. Туристы — французы и немцы. «Но сувенир!»

В Национальный музей. Много нового, только что найденного, поднятого со дна заливов. Посейдон из бронзы.

На улице, на парапете, где растёт какое-то сочное зелёное растение с большими волнистыми лапками, как у портулака. Оранжад. Жара. Значки рабочим и мороженщику. «Иса крем!» Полицейский выпрашивал у мороженщика значок.

Часовые-сулиоты у дворца королевы Фредерики. Предместье Афин — фешенебельное. Отель «Паллас». Виллы Корбюзье, новые дома палевой раскраски. Большие жалюзи. Олеандры. Сухая земля.

Отель. Экипажи, автобусы (автопульманы[2]). Мальчик весь в пуговках. Обед на террасе. Макароны с томатом, любопытные официанты, дети на перилах. Сувениры. Белое вино.

Приехал посол. Концерт. Тарапунька и Штепсель. Джаз. Речь посла.

В город на площадь Плебисцита. Старики, обвешанные губками. Почти все говорят по-русски. Мальчишка с конвертами. Письмо Тане (почтамт).

Человек из России — больной, с крестиком на шее. Площадь, тысячи реклам, крики продавцов. С Катерли и Грани-

[2] Автопульман (*ит.* Autopullman) — комфортабельные автобусы дальнего следования.

ным пили оранжад на площади. Матросы. Старушка из Ростова-на-Дону. «Комиксы». Гирлянды темных очков — «консервов». Всех форм. Усталость.

В Пирей. В таверне в порту с Катерли. Пусто, старик. Лимонад. (До этого — заливы около Пирея изумительные. Гранин понял поэзию чужих стран.)

Ночью отошли. Провожал посол.

В Ионическом море. Берега Греции — как багровый дым. Качает.

Качало весь следующий день, пока не показались берега Калабрии и Сицилии. Этна. Мыс Спартивенто. Изумительная вода — ляпис-лазурь. Обрывистый берег Калабрии. Лава, маяки, поселки. Всё выжжено до корней. Высохшие реки с цементными руслами падают с гор. Сказочный разворот Мессинского пролива. Этна — огромный поднебесный вулкан. Синева.

Новый вулкан. Извержение. Объявили с капитанского мостика. Сернистый дым, видно, как горят от потоков лавы по склонам гор смолистые сухие леса.

Чудесный город Реджо ди Калабрия. Рыбаки. Жестокая желтизна. Солнце.

Мессина. Памятник на колонне. Квадратная средневековая башня в море. Электролиния через пролив. Красный маяк (цвета киновари).

По склонам Этны бьют фонтаны дымков. Апельсиновые сады. Невероятная голубизна, отвесный берег в плюще, крепости — ноздреватые, старинные. Губки в воде. Дельфины.

Остров Стромболи. Дымит. Лазурная нереальная страна.

(Тирренское море.) Юбилей Гамзатова. Добряк.

Проснулся до рассвета. Думы о своих, о Танюше, о Галке. Сырое утро, дали во мгле, силуэт Везувия. Огни Неаполя. Маяки. «Карго» (лихтера) на якорях. Лоцманский катер. Пожилой легкий лоцман взбежал по веревочному трапу, как перышко.

(До этого было в Пирее —итальянский пароход линии «Адриатика». Рядом с нами. Красавцы — офицеры и матросы. Патеры в круглых шляпах. Изящные женщины на крышке трюма — ужинали. Девушки все как Джина Лоллобриджида. Очень трогательные. Романтический пароход. Дружное

общество пассажиров. Когда пароход отваливал (кажется, в Яффу), патер благословлял (крестил) его.

В неаполитанском порту. Замок Кастель Нуово. Пароход «Сицилия». Долго не спускали на берег (спутники — Рахманов, Катерли, Акимов, Цымбал, Женя — жена Рыбака, бородатый молодой поэт из Ленинграда Орлов, добродушный Расул Гамзатов — «представитель маленького горского народа».)

Нарядность и уют улиц, которые как будто видел во сне. Гид — бывшая русская, старуха в перчатках, всем недовольная.

В Помпею. Веселые и просторные окраины Неаполя. Везувий не дымит. Чистота, зной, зеленеющие сады и склоны. Дорога выбита в толстых слоях желтой лавы Помпея. Чудесный город. Олеандры, масличные сады. Запах мазута, рекламы, белые мотороллеры. Внизу в перистой листве — Кастелламмаре.

В Помпее — зной. Извозчики (веттурино) на разукрашенных гнедых поджарых лошадках. Бичи, фонари. Полицейские с белыми перевязями.

Помпея — величественно и уютно. Плющ. Колеи, выбитые в камне веками. Много снимал. Иностранцы — старые англичане, индусы. Фигуры погибших (мальчик и собака). Собиратели сувениров (полицейские).

В Сорренто по фантастически прекрасной дороге. Снова Грин. Ущелья, в них прорезаны дома, увитые цветами, тенью, солнцем, шум источников. Перекидные мостики и лесенки. Солнце лежит на стенах, как полосы золотого полотна.

Ресторан в Сорренто (гид отказалась везти нас к дому Горького — «далеко и неинтересно»). Внутренний дворик — патио. Ветер дует по скатертям. Каприйское вино.

На катер. Крутой поворот среди головокружительных стен, где в окнах решетки, а за ними — красивые женщины. Пристань. Мальчишки и девушки купаются прямо с мола. Акваланги. Водолазные маски.

Берег отражается в море, как в чистейшем оливковом масле.

Катер. Все очень просто. Отошли на Капри. Бессмертные берега (Родион Щедрин).

Тоска по Тане, Галке, по моему чуду — маленькому мальчику. Завещаю Галке и Алешке обязательно увидеть все это.

«Кока-кола» в пароходном буфете. Горьковато. Опереточный юнга. Очень вежливые детективы.

Игрушечный остров Капри. Горький. Бунин (жил в Анакапри, задумал там не только «Господина из Сан-Франциско», но написал лучшие свои рассказы о русском крестьянине — «Илья-Пророк», «Худая трава» и другие. В силу контраста).

Капри — как сон. где спутано всё живописное, чем блещет юг. Кафе на пристани, белые пароходы, веттурино, широкие и разноцветные машины (бесшумные), столики в цветных скатертях, лотки с кьянти и фруктами, монахи, рыбаки, дети, американки в узких брюках и лёгких кофточках навыпуск, темные очки, как бабочки, индусы, собаки, оранжад, городок на скалах, как один большой дом с переходами, францисканцы, подвязанные белыми веревками с узлами, монахини. Шум, говор, смех, толчея, зелень со скал свешивается прямо в воду с огромной высоты, лиловая и совершенно прозрачная волна.

На моторке к Лазурному гроту (Гротта Лазуре). Моторист — пожилой босой итальянец вертел рулевое колесо ногой. Катерли, Рахманов и я. Впритирку к отвесным скалам. Статуя Мадонны в скале. Толчея лодок. Крики. Усталость. В грот. Фантастический лазурный сумрак и горение воды.

Сидели за столиком на площади у воды. Маленькие бутылочки с кьянти. Ослы, машины, дети. Немного отдохнул.

Пароход в Неаполь. Опоздали. Быстрый ход, маслянистая вода, ныряющие огни Неаполя в ночи на горизонте. Ветер. Акимов у окна.

Автобусы отвезли на ночную площадь перед собором. Карнавал «В честь святого Петра» (?). Пошли по улицам Огромные щиты-картины из неоновых ламп — рыцарь целует у дамы, приподняв платье, круглое высокое колено, мчатся веттурино с любовниками и тут же распятия, где горят, как кровь, вишневые лампочки.

Огненные итальянки в национальных костюмах.

Такси. Содрал доллар. Ехали куда-то за город, в сторону Санта-Лючии, по запруженной толпами иллюминированной набережной. Подъем по узким улицам. Отчаянный крик полицейского: «Ла виа фермата!!!» Огромнейший, стандартно-европейский ресторан на площадке (площади) под открытым ночным небом над Неаполем. Джаз. Внизу — весь Неаполь в туманных огнях. Усталость. Вода со льдом. На «Победу».

Утром — в Рим. Поезд подали на пристань. Маленькие вагоны, красный бархат, купе и в них — чудесные репродукции в красках (Рафаэль, Боттичелли, вплоть до современных — Сегантини). Виноград в пакетах («уво»).

Окраины Неаполя. Жёлтый дым. Вокзал. Жандармы с длинными саблями. Ходят по двое. Электровоз — сразу рванул. Бешеная скорость — 120—140 километров в час. Грохот, лязг, визг. Туннель за туннелем.

Апеннины. Живописно и сурово. Селенья и замки в лощинах. Сухая красная земля, каналы (бетонные), виноград, подвешенный между тополями, буйволы, маслиновые рощи, сохи и мотыги.

Станция Форли. Кофе. Видно море. Города на вершинах гор. Соборы. Уснул. Разбудили около самого Рима. Акведуки в пыли.

Пустынный маленький вокзал. Город, на улице — пинии. Пирамида (около неё похоронен Шелли). Потрясающая красота города, слияние веков, непрерывное волнение.

Призрак Колизея. Бешеное движение блестящих машин.

Гостиница «Юниверсо». Чистота и мраморная прохлада. В номере вместе с Рахмановым. Всё — вверх дном. Уборщицы (сувениры), смех, хохот, притворные драки. Жара. Жалюзи.

Первая прогулка по Риму. Рыжий гид. Замок святого Ангела. Мосты, ансамбли. Удивительный Тибр — зеленый и мутный. Шествие статуй. Вдали собор святого Петра. Испортился аппарат.

Площадь Навона. Как на картине Каналетто. Фонтан, сухость, пустынность каменных плит.

Пантеон. Загадочное здание. Единственный источник света — отверстие в куполе. Таинственное освещение, свет,

прошедший сквозь века. Глубочайшая древность. Могилы королей, вдруг — могила Рафаэля. Саркофаг в нише, вырубленный в древнем плоском кирпиче, и на нем — две сухие почернелые гвоздики. Печаль.

Поездка на Яникул. (Мимо виллы Боргезе — прекрасного парка из пиний среди города, памятник Гёте.) Одинокий фонтан. Свежесть каскадов. Купаются мальчишки. На Яникуле — памятник Гарибальди. «Рома а морте» — «Рим или смерть».

С холма виден весь Рим — вечный город во мгле. Он кажется не очень большим. Продавец кораллов. Прелесть листвы.

Район выставки (начат при Муссолини). Новые дома, как невесомые корабли — все палевые: сиреневые, золотистые, голубоватые, слаборозовые. Большие и тонкие жалюзи. Очень нарядные и простые. Дом со статуями.

«Новый Рим». Несколько лет всё это пустует, ждёт открытия. Образцовый порядок.

Собор (базилика) святого Павла за городом. Святые двери. Патио. Монах в современных окулярах продает книги. Внутри — величественный вкус, тишина. Обдуманность каждого завитка. Сумрак. Двадцать патеров на коленях. Аминь! Прошли чёрной шеренгой. Солнце.

Конец дня — у фонтана Треви. Узкие улочки. Каскады, шум воды, её морской вид. Серебряные монеты. Катерли дала мне несколько гривенников. Бросил в фонтан. «Вернешься в Рим». Вечером с Рахмановым в кафе на панели. Лимонад. Оживление. Бродили по Риму. Ужин в гостинице. Корреспондент «Правды» Ермаков. Пили кьянти. Все самые левые художники в Риме — коммунисты.

Второй день в Риме. Густое солнце. Шофер Романи Марчелло. Разговор о Пиноккио. На мостовой с Акимовым.

В Ватикан. Седой гид в чёрных очках и коротеньких брючках. По берегу мутного Тибра. Стены Ватикана. Много монахинь, некоторые на мотороллерах.

Вход. Герб папы — тиара и ключи. Гвардеец в форме, придуманной Микеланджело. Желто-красный, в берете. Жандарм (сбир) в синем, в треуголке, с блестящей саблей.

Лестница — два спуска без ступенек. Скаты. Восхищение Акимова.

Музей Ватикана. Скульптура. Дискобол. Лаокоон. Мраморы в удивительной сохранности. Цвет старого воска. Из окон веет свежестью и пустынностью ватиканских садов. Египет. Гобелены. Несметные богатства.

Сикстинская капелла. Ремонт. Люди сидят часами «Страшный суд». Боттичелли. Сумрак. Золотистость фресок. От них, как от старой ткани, тянет вечерним светом (закатным) и теплотой тысячелетних стен.

Жилище папы — строгость крепостных зданий и переходов. Занавеси, написанные на стенах капеллы художниками. Стада туристов.

Библиотека Ватикана — все сокровища мира. Карты Колумба и Магеллана, глобусы. Золотая роза — папский орден, выковывается для подарка лучшей из женщин. Огромные анфилады гобеленов.

Папская почта. Монеты. Зной. Какие-то кустики в трещинах стен. Сорвал.

Здесь — ясность мысли и цели, все родилось из вымысла (Христос) и превратилось в почти фантастическое, но вполне реальное государство (здания, эстетика, несметные богатства, философия, живопись, свои законы, мораль, казни, давление на сознание всего человечества). Пастернак. «Рождественская звезда».

Монах-словак. Миссионер. Эрудиция.

К собору святого Петра. Непостижимо, грандиозно. Великолепное описание у Стендаля — ничуть не устарело.

Исполинский внутренний алтарь в соборе Петра. Витые колонны.

«Пиета» — Микеланджело. Человек противопоставил себя богу. Величавость. Купол.

Девочки на конфирмации — белые кружева. Крестины. Семья и кормилица итальянка, как у Брюллова. Синий корсаж, белые чулки.

На площади святого Петра. Сломался аппарат. Иностранцы, гиды, полицейские. Могучая колоннада. Всё кипит от голубей.

Граница Ватикана — белая мраморная полоса.

Стадион. Пустынность. Мощная скульптура. Лавры.

Колизей — суровый, молчаливый, тяжкий, будто сцементированный кровью. В нём живут.

В город с Катерли и Рахмановым. Студентки-итальянки в магазине. Попросили автограф.

Тихий сквер над туннелем. Пустынные тёплые улицы. Памятник Карлу-Альберту. Бронзовая треуголка. Фонтан. Дети. Платаны. Вечереющая тишина Рима. Все — с газетами. Усталость и отдых.

Вокзал Термини — удивительное здание. Ужин. Тележки. Сотрудник «Правды» и итальянский репортёр. Прощание с Римом. Поезд. Глубокий сон. Сельский полицейский в купе. Ночные окраины Неаполя.

На «Победе». Тотчас ушли. Синий, лиловеющий, волшебный дым Средиземного моря. Маяки Сардинии. Акимов рисовал мой портрет (шарж). Зной. Проходим Алжир. Выступал в команде.

Ночь перед Гибралтаром. Уснул на шлюпочной палубе. Разбудил капитан. Тропическая сырость и жар, горячий воздух. Всё мокрое насквозь, как от дождя. Много кораблей (военных) идут к Суэцу. Сигналы, маяки — Тарифа и Гибралтар.

Вошли ночью в Атлантику. Океан спокоен.

Люди — Гамзатов, банкет в его честь. Гранин с аквалангом, пробовал его на рассвете в пароходном бассейне, чуть не утонул, поэт Орлов, его теория о старой культуре. Елена Осиповна Катерли, нежный и обидчивый Рахманов. Цымбал (его тосты), молодой композитор Родион Щедрин, сухой и чуть высокомерный Акимов, розыгрыш Гранина, радио мне от Симонова: «Прошу телеграфировать мнение французской общественности о последних стихах Грибачева», мои соседи по каюте — журналист Волков, был в Египте, судья из Минска. Женя Рыбак.

Прошли мыс Санта Мария — половину пути. Открылись берега Португалии, страны, всю жизнь привлекавшей меня и чем-то очень таинственной. Сухие горы, каменистые скаты, разрушенные замки и крепости, безлюдье, монастыри и маяки, похожие на крепости (на мысе Сан-Висенте). Базальт и гранит.

Ночью — огни Лиссабона. Старые дымные пароходы с высокими тонкими трубами.

Впереди Бискайя. Беседа в салоне с капитаном. Очень откровенный человек. Пароход довольно неважный, тихоход, горелые шпангоуты. Вошли в Бискайю, оторвались от берегов Испании. Свинцовая хмурая вода. Мёртвая зыбь. Холодно. Заболел. Жар. Широкая и отлогая волна. Авианосец, как призрак. Долго запрашивал нас фиолетовыми огнями.

Утром — Гавр. Зеленый мыс, предместья. Радиолокационная станция вся во флагах. Отлив. Тинистые молы. Пустынность. На берегу — ажаны в синем. Белые портупеи и кобуры. Дети, встречающие. Огромный порт. Пустые пути, тишина, рыболовы на велосипедах. Забастовка грузчиков.

Грохот поезда. В купе. Видно — нищий, бахрома на рукавах.

За окнами — Нормандия, сказочная страна. Сочная, тучная. Папоротник. Изгороди — барражи. Прелесть дорог и ферм. Вереск. Снимал с Акимовым на ходу. Ход бешеный. Гром, грохот, туннели.

Руан — среди высоких холмов, неожиданный. Туманная Сена. Вокзал, стиснутый между двух туннелей. Родина Флобера и Мопассана.

Круассе — выше Руана, ближе к морю. Мост через Сену. Мгла. Круговращение огней.

Париж! Вокзал Сен-Лазар. Толпы молодежи. Смех, оживление. «Дружба!» Усталость.

Ночной Париж. Вихрь огненных реклам. Опера, церковь Мадлен, как видение детства. Всё знакомо до последней прожилки, и всё незнакомо.

Ажаны, разноцветные машины, гостиница на набережной Орсей. Темноватый вестибюль. Лепной зал. Вино. Ужин. В другую гостиницу на такси.

На Монмартр. Путаница бульваров. Отель «Сентраль Манти». Против «Фоли Бержер». Домашняя маленькая гостиница. Красивая пожилая хозяйка-парижанка. Портье-малаец.

Комната. Гладиолусы. Валики вместо подушек. Очень старый дом. Крохотные ванные и уборные. За окнами — ряды мансард.

Вечером на бульвары с Катерли и Рахмановым. Бульвар Нувель. Монд Бульвар. Пуассоньер, ворота Сан-Дени. Усталость. Сюрреалистические картины на асфальте. Спящие машины стоят вдоль тротуаров в два ряда. Целующиеся парочки, спящие на скамейках старики.

Подобрал бархатный пыльный лист платана. Около кафе – девушка, которую мы только что видели на афише – «ню». Кого-то ждала.

Ночь в гостинице. Валики вместо подушек.

Рано утром с Граниным и Рахмановым в «Чрево Парижа», на центральный рынок – халль. Целые кварталы стружек, пустых ящиков, теснота, банановые корки, кокосовые орехи. Кафе «Курящая собака». Рыбный ряд. Вода и лёд. Лужи. Омары и кальмары. Запахи моря. Крики. Мясной ряд. Свиные головы от куафера. Кокетливые монахини. Гранин расцвел. Цветы и солнце. Русская женщина, забывшая язык.

Пон Нэв (Новый мост). Снимал его. Сена в серебряном утреннем тумане. Вдали – Нотр-Дам. Статуя Карла IV на мосту.

Остров. Суд. Латинский квартал. Чудесные улочки. Издательство во дворе на мансарде. Секретарша Жоржетта, молодые редактора. Писатель Пьер Гамарра. Рисунки Пикассо на стенах. Вино, книги. Разговор по телефону с Эльзой Триоле. Нас провожал Пьер Гамарра.

Дом, где живёт Пикассо. Двор Академии. Плющ. Букинисты. Всё в листьях. Ветки над Сеной. Открытки, эстампы. Книжный магазин. Книги импрессионистов. Дом, где родился Анатоль Франс. Свежесть реки. Консьержери с круглыми башнями. Домой. Икра (подарили Пьеру Гамарра).

После обеда в Лувр. В вестибюле гостиницы – знакомство с двумя русскими женщинами. Лидия Николаевна Делекторская[3] и её двоюродная сестра. Работницы издательства. Автографы. Наши новые гиды (гид – студент Сорбонны в рваном пиджаке, русский, очень милый).

---

[3] *Делекторская Лидия Николаевна* (псевдоним: Lydia Delt; 1910, Томск – 1998, Париж) – деятель культуры, даритель, переводчик; муза, друг и секретарь Анри Матисса. *Мосолова* (*Мосолова-Адан, Адан*) Елена Анатольевна (1903–1985), живописец, фотограф.

В Лувр. Зной. Великолепие, солнце, простота. Смотрел только две вещи — Венеру Милосскую и Джоконду. Сознательно. Сумрак. Теплота веков.

В сквере около Лувра. Снимались с Делекторской и её сестрой. Дети и бабушка «Пти-Жан».

Объезд Парижа. Эйфелева башня, мосты, площадь Конкорд, сад Тюльери. Монмартр. Сакр Кёр. Около Триумфальной арки. Поток машин. Кафе с Лидией Николаевной и Рахмановым. Бистро.

Обед. Портье-малаец и весёлый старик коридорный — циркач. Толстый шотландец. Новая комната.

Версаль. Окраины Парижа, валы. Булонский лес. Кавалькады. Тень, вековые деревья. Спокойствие и уют Сены. Пароходики — «мухи». На стенах надписи времён Наполеона о том, что здесь не разрешается клеить афиши. Дворы Версаля, камень. Статуи. Сенегальцы. Дворец запущен. Залы, зеркала, парки. Горы зелени. Стол, на котором был подписан Версальский мир.

Обратно — Нотр-Дам. Контрфорсы. Босой художник. Плющ над Сеной. Внутри — сумрак. Собор в соборе (от туристов). Монахини. Латинский квартал. Сорбонна. Пантеон. До этого — могила Наполеона.

К Лидии Николаевне на такси (Катерли, Рахманов, Гранин и я). Бульвар Пале Рояль. Окна в Люксембургский сад. Чудесная квартира. Секретарша Матисса. Его полотна и рисунки. Книги. Два кота. Воздух осени из сада.

Такси Русский шофёр из Одессы. Прощальный ужин. Аперитивы. Сувениры. Хозяйка гостиницы.

На вокзал Сан-Лазар. Проводы. Ящик с холодными фруктами. Прощание с Лидией Николаевной.

Грохот, лязг, огни Руана. Тихий Гавр в полночь. Отвал. Далёкие маяки Джерсея и Гернсея. Вообще — много маяков.

Вошли в Ла-Манш.

Утром в тумане — меловые берега Англии (Альбиона), покрытые ярко-зелёным ковром свежей травы. Мачты радиостанций и пустынность. Паромы, белый парусник, древний зеленовато-тусклый цвет воды. Ветер. Мягкая качка.

К вечеру — плавучие маяки и бакены с колоколами. Вошли в устье Рейна и Мааса.

Роттердам — самый большой порт Европы. Вечер. На километры тянутся причалы, корабли, верфи, гигантские краны, уходящие огнями в небо. Всё расплавлено от неона.

Тёмный парк, кафе, драка парней с девушками в красных юбках. Наши бегали к полицейским, кричали, пока не оказалось, что эти парни и девушки танцуют рок-н-ролл по заказу владельца кафе. Для рекламы. Ровно в 12 часов они мирно сели на мотороллеры и уехали в город.

Отошли к середине реки. Утром на катере на берег. Автопульманы.

Роттердам — бордовые кирпичи, цветы на балконах. Простор. Памятник из рваного от бомбежек железа — «Вырванное сердце».

Музей Рембрандта. Чудесные дети. Мальчик. Архитектура музея, потолки с жалюзи, круглые проходы. Строгость, стройность, простота. «Урок анатомии». Пейзажи фламандцев. Неофламандцы. Роден, Ван-Гог, Вламинк и Утрилло. За узкими открытыми окнами — чистый пустынный канал и девственные лужайки.

Покупал открытки. Флаги всех стран. Першероны и велосипеды.

В Амстердам. Переводчица — простая русская девушка из концлагеря вышла замуж за голландца. Рыболовы, мельницы (из 2000 работает только 200). Вдали Дельфт — родина Вермеера.

Гаага. Блоки над квартирами, подымают все покупки (лестницы очень узкие).

Бешеный ход. Поля, плоскости.

Амстердам. Чистота, уют, сквер над каналом. Хрустальные катера. Каналы, шлюзы. Сотни машин с колёсами, почти свисающими над водой. Нет гаражей. Барки с квартирами, занавески, уют, кошки, смех детей. Листва в воде. По всем городским каналам плавают утки.

Порт в устье Амстера — громады парусных и грузовых кораблей, дым, волна, ветер. Дом, где родился Рембрандт.

Стремительный завтрак в ресторане. Магазины. Весёлая продавщица. Кассирши всегда благодарят. С Катерли — сувениры. Сабо, гербы городов для Алешки.

Отъезд в Гаагу. По пути снимал мельницу и поля левкоев.

Гаага. Дворец мира. Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. С Акимовым по сумрачной улице. Велосипедисты с собаками в корзинках. Собаки лают на встречных.

В Шевенинген — рыбачий маленький порт около Гааги. Дамбы. Серый ветер. Женщины и девочки в чёрном и в сабо. Баркасы, множество бочек с рыбой, теснота, потом — серое море. Шум волн. Старый маяк на дамбе швырял два луча над головами во мглу.

Вереницы нарядных машин. Золотой ресторан. Из Хемингуэя. Лакеи во фраках, красивые, как Оскар Уайльд. Ужин без хлеба. Просьба хлеба вызвала смятение. Джаз за матовой стеклянной стеной.

На дамбе. Девушки, негры. Тьма. Усталость. В автобусе до Роттердама дремал.

Отошли. Северное море. Бакены с мрачными колоколами. Выступал в музыкальном салоне. Гранин купил фарфоровую мельницу,[4] она играет «Ах, майн либер Августин!» Он обескуражен...

К вечеру на второй день вошли в устье Эльбы. Сумрак, дым. пароходы из Гамбурга.

Утром канал. Шлюзы, неоновые неуютные вывески какого-то города.

Канал очень узкий. Голштиния. Березовые перелески, песни. Уютные домики. Встречные корабли. Маленькие лихтеры с лесом идут в Гамбург — множество. Мосты на огромной высоте. Вдали в тумане и огнях — Киль. Яхты.

Вышли в Балтику. Ночью прошли Борнгольм. Серая вода. Бледное солнце, осень.

На рассвете вошли в стокгольмские шхеры. Серый ветреный рассвет. Сурово и прекрасно. Фермы, леса, протоки, ма-

[4] Д. А. Гранин купил деревянную мельницу.

яки, коттеджи со своими пристанями, всё уже заколочено на зиму. Десятки гранитных шхер, затем внезапно открылся за поворотом Стокгольм.

Город, вырубленный в скалах. Пакгаузы. Полицейские с короткими саблями. Гид — русский. Старик. Старый город. Деревянные цветные дома, теснота. Узкие улочки. Готика (северная). Дети на скверах. Обширные сады. Пробег по городу. Кафе на сваях, над площадями и заливами.

Высокие и тонкие золотоволосые шведки. Спешка. Дождь, ветер, бешеное левое движение.

На «Победу». Ужин. Переоделся. В ратушу.

Гениальное здание архитектора Эсберга (?). Кирпичный зал. Северный ренессанс. Зал совета. Статуя Эрика — покровителя Стокгольма. Золотой зал. Капелла — сумрак, свет сверху, тишина, могучие колонны. Золотые рыцари на часах. Концерт. Девочки и девушки — стройность, нежность и сила. Народные танцы. Речь Акимова.

Дикий ветер. Ушли на рассвете. Снова шхеры, ветер, барашки — впереди шторм.

Штормовали весь день — 9 баллов. Бортовая качка.

Утром — шторм на солнце, волна просвечивает зеленью, радуги от брызг.

30 октября. Хмурое утро. Ветер. Открылся берег вблизи Выборга. Толбухин маяк. Серое, ветреное море.

Родина. Кронштадт — чёрный, осенний. Вешки. Насыпь камней, на них растут березы. Купол Исаакия. Порт. Ледяной ураган. Танюша на пристани. Швартовались два часа. Встреча.

✧✧✧✧✧

Даниил Гранин

ЧУЖОЙ ДНЕВНИК[1]

Летом 1982 года дела привели меня на несколько дней в Пензу. Жил я там в гостинице на берегу Суры. Однажды, под вечер, понадобилось мне разменять деньги для телефона-автомата. Спустился я к газетному киоску. Приличия ради решил купить какой-нибудь журнал. Почему-то я выбрал «Смену», которую никогда не читаю. И выбрал именно этот номер. Повезло. Ничего не выигрываю, ни в спортлото, ни по займам. Счастливый случай меня обходит. Все достается с трудом. А тут повезло, и крупно: вечером, когда стал перелистывать журнал, нашел в нем «Европейский дневник» Паустовского. В дневнике — про меня. Старые записи о нашем давнем путешествии вокруг Европы на теплоходе. Оказывается, Паустовский всю дорогу вел записи, краткие, сжатые до предела: обозначения событий, упоминания о разговорах, почти не расшифрованные. Спустя четверть века Галина Арбузова опубликовала их. Даже сквозь эти — наспех сделанные, рабочие, чисто служебные, для себя — записи рука художника, его глаз, его стиль ощущаются. Что отделанная повесть, что черновик — оба пишутся одним и тем же почерком. Здесь почерк, может, даже проступает лучше, натуральнее:

«На улице, на парапете, где растет какое-то сочное зеленое растение с большими волнистыми лапами, как у портулака. Оранжад. Жара. Значки рабочим и мороженщику. “Иса крем!” Полицейский выпрашивал у мороженщика значок».

«По склонам Этны бьют фонтаны дымков. Апельсиновые сады. Невероятная голубизна, отвесный берег в плюще, крепости — ноздреватые, старинные, губки в воде. Дельфины».

Много записей — односложных, малопонятных и вовсе не понятных постороннему читателю. Для меня же они как нажатые кнопки — вспыхивают, освещаются полузабытые

[1] Публикуется по: *Гранин Д. А.* Чужой дневник // Гранин Д. А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 8. М., 2009. С. 67—106.

сцены, картины, краски. Что-то всплывает, не сразу, из глубины памяти, а что-то и не может уже всплыть, отзывается каким-то слабым колыханием, а всплыть не может.

Чужой дневник. В нем все чуть иначе. Краски чересчур яркие, тени гуще, свет падает слишком красиво. В Стамбуле Паустовский увидел джип с полицейскими, у меня же остались — дивной красоты турчанки. Нигде не встречал столько красивых женщин, как в Стамбуле.

Собственные воспоминания о той поездке задвигались, ожили. Они обретали новое измерение. Через Паустовского я узнавал себя, он записывал меня, что я делал, что я говорил. Я сравнивал его записи и свои воспоминания, разницу нашего видения, вкусов и влечений.

Я видел себя самого, в молочного цвета туфлях, которые мне одолжил Серега Орлов, и самого Серегу с рыжими лохмами, и Расула, черноволосого и почти стройного, изумленного... Я разглядывал свои воспоминания, как педагог рассматривает этюд ученика. Поправить надо здесь и там, я видел ошибки восторга, преувеличения, наши последующие судьбы, неоправданные надежды, которые не сбылись... Боже, как давно это было!

За окном затихала вечерняя Пенза, по ее зеленым крышам косо скользило закатное солнце. Мешанина многоэтажек и деревянных домов, укутанных в овечью зелень садов. Впервые я попал в этот чистый старый город, знакомых у меня тут почти не было, редкое состояние покоя, полного покоя, без ожиданий и обязательств, пришло, как штиль.

В другой вечер дневники Паустовского, может, и не затронули бы души столь глубоко, проскользнули бы по касательной.

Рейс начинался с Одессы. Мы приехали в Одессу. Паустовский показал мне свою Одессу. Корабль стоял в порту, теплоход «Победа», огромный океанский лайнер, — он загружался, догружался, оформлялся, а мы бродили по городу. Дворы, завешанные бельем, лавочки, подъезды, где сидели старики и старухи и торговали длинными самодельными конфетами, пирогами, тапочками, яблоками. Дом, где когда-то помещалась газета «Моряк». Там Паустовский работал.

Он изображал, как мальчишки-газетчики кричали: «“Мрак”! Газета “Мрак”!»

Крикливый Привоз, неслыханной красоты и мощи базары, одесский говор, одесский юмор, кому это, как говорится, мешало? В то лето 1956 года Паустовский ещё мог показать свою Одессу, ещё на рынке тощий инвалид в тельняшке мог заставить купить велосипедный звонок, на который все будут заглядываться! Через двадцать лет, когда я захотел показать эту Одессу своим друзьям, я ее не нашел. Ее уже не было. С непонятной старательностью ее выскоблили, всю одесскость, одессизм, ее говор, ее шутки, ее обычаи... Ревнители однообразия, они терпеть не могли одесскую литературу, давшую Ильфа, Петрова, Багрицкого, Бабеля, Катаева. Причислили к ним и Паустовского. Южнорусская школа в устах этих критиков стала чем-то подозрительным, чужеземным. Паустовский любил Одессу и никогда не скрывал этого, не отрекался от нее, хотя и не был одесситом. За это ему доставалось, и немало.

Итак, летом 1976 года, вспоминая покойного Паустовского, я бродил по Одессе, и это была другая Одесса. Было жарко. Я спустился к причалу, где когда-то стояла «Победа». Набережная и лестница смотрелись отсюда так же красиво, все стало чище, портовые краны выглядели внушительнее, цветов стало больше. Дома были свежеокрашены, играли фонтаны, в киосках открыто продавали жевательную резинку. Но прежней Одессы не стало. Имелся красивый морской город, областной центр, почему-то знаменитый, а почему — неизвестно. Люди говорили с чуть заметным южным акцентом, но примерно так же, как в Николаеве и Херсоне, и надписи всюду были правильные, никаких вольностей, и шутили так же, как всюду. Наконец-то добились, чтобы этот город стал как все другие города.

Мальчишки-газетчики Паустовского превратились в пожилых стариков, они сидели в застекленных киосках, продавали «Огонек», «Польшу» и зубную пасту.

Не помню, как я познакомился с Паустовским. Это было до поездки. Наверное, это не отпечаталось потому, что я знал его раньше, много раньше, чем увидел. В школе я зачитывал-

ся его книгами «Блистающие облака» и «Романтики». Барочная пышность языка и сладостный ритм фраз завораживали меня. Герои разговаривали так, что щемило сердце. От его описаний деревья, облака, женщины, пение птиц, шелест страниц чувствовались свежее, становились загадочнее.

«Артур Рембо любил писать при краденой свече на полях книги со скабрезными стихами в тесной каюте. Свеча была воткнута в бутылку. Рембо мечтал о том, чтобы омыть всю землю в пузырящемся сидре. Уайльд любил сверкающие лампы и камины, золотые, как цветок подсолнечника в его петлице в туманный и весенний лондонский день». Сейчас я пожимаю плечами, а в юности что-то слышал, и откликалось.

«Земля пахнет березовой корой, перепадают скромные дожди, и вся страна стоит как чаша, налитая золотым вином, синим небом, яркостью».

Война у него была такой же нестерпимо красивой:

«От канонады сотрясались старинные костелы. В домах плакали дети, метались женщины, на вокзале тревожно кричали паровозы, по белым карнизам зданий бегал красный свет факелов».

Автору было двадцать четыре года. Теперь так не пишут. Чтобы так писать, нужны чувствительность и неутомимое удивление перед таинством происходящего.

Жаль, что магия этих фраз для меня улетучилась, не действует так же, как не волнует уже шум танцплощадки, прикосновение женской руки... Красивость, пышность — слова из нынешних моих понятий. А собственно, какое право я имею считать, что вкус мой стал лучше, совершеннее? У меня нынче просто другой вкус, потому что я другой. Тому, семнадцатилетнему, нужны были Гюго, Грин, Светлов, Багрицкий, Тихонов, в них нуждалась душа. Так в детстве организм для роста требует кальция. Так больше всего хотелось мороженого и лимонада.

В «Романтиках» есть глава «Ночная встреча». Я знал ее наизусть. Я сказал об этом Паустовскому. Он хмыкнул: «Не вздумайте произносить ее вслух; это, наверно, приторно, как сахарин». Я никогда не перечитывал «Романтиков». Зачем?

Зачем обесценивать те часы счастья и мечтаний, какие получил от этой книги в юности?

Паустовский совмещался со своими книгами легко, но неполно. В Одессе и потом на «Победе» открылось искусство устных его рассказов. Они были несхожи с его письменными. Два разных рассказчика. В устных начисто отсутствовала приподнятость. Когда он рассказывал хрипловатым своим, надтреснутым голосом, кругом улыбались, посмеивались. В палубных его рассказах царил юмор, которого почти не было в книгах. Десятки смешных историй об Аркадии Гайдаре, о Фраермане, Багрицком, Бабеле и Булгакове. Законченные новеллы, вроде старинных итальянских «Фацетий». Записать их трудно, смешное исчезает, но все равно следовало записать их, я подозревал, что сам Константин Георгиевич их не записывает. Так и оказалось. Думал, что неудобно, даже бестактно записывать рассказы писателя. Все равно что заниматься плагиатом. Бóльшая часть этих рассказов пропала. Мешало, что кроме меня кругом сидели и слушали Константина Георгиевича другие писатели. Они запишут. Другие запишут — это всегда успокаивало, избавляло от необходимости самому... И так всю дорогу. Хотелось жить, не хотелось отрывать от жизни хотя бы полчаса, чтобы записать прожитое. Один рассказ я почему-то запомнил лучше других. Как Аркадий Гайдар остановился в Москве перед гербом какого-то посольства, долго рассматривал его, потом стал допытываться у дежурного милиционера, что это за страна, чей герб. Милиционеру любопытство это показалось подозрительным, и, так как Гайдар настаивал, приехала машина и его забрали куда следует. Там долго выясняли его личность. Наконец выпустили. Но он не желал уходить, пока ему не скажут, что это за посольство.

Сам Паустовский не смеялся, а посмеивался, тихо, отстраненно, и над собою, и над Гайдаром, и отчасти над нами. Слушать его истории было захватывающе интересно, они отличались сюжетом и домашностью, уютом, рассчитанным на пять-шесть человек, не больше. В его юморе не было желчи. Это был юмор человека, умеющего видеть и отбирать смешное «из жизни». В его книгах этого мало, может, потому, что

стиль открытого романтика отторгает хитрый, прищуренный смешок, это добродушное подтрунивание и откровенное веселье. Хотя обобщать не следует, рискованно обобщать, когда речь идет о настоящем писателе, он обязательно вылезет из правил. Сразу же вспомнился крохотный рассказик Паустовского «Случай с Диккенсом» «о прилипчивом писателе Диккенсе», рассказик, который весь состоит из маленьких и больших улыбок.

Сладостный озноб, лихорадка нашего отплытия, тающая вдали белая Одесса, первый наш выход в мир на огромном лайнере, первый раз в руках заграничный паспорт, первые огни чужих маяков, ветер дальних земель... Впервые для нас, но к этой первости добавлялась ещё всеобщая первость: таких круизов ещё не было, первый рейс советских туристов вокруг Европы.

Паустовский не уходил с палубы. Болгария, шторм, вход в Босфор, Дарданеллы, Лесбос, желтеющий нагими каменными обрывами, серая земля масличных рощ, путаница и теснота рей, бронзово-зеленые пушки среди коричневых скал — все, все волновало его, приводило в восторг и трепет. Он бывал здесь не раз, давно, рассматривая в старых книгах эти берега, читая о них в лоциях, и вот наконец все это задвигалось, поплыло за бортом теплохода: косые паруса фелюг, раскрашенные прихотливыми красками крепостные стены... Он простаивал дневную вахту, прихватывал ночную, перестаивая всех нас. Мы — это поэт Сергей Орлов, писатели Леонид Николаевич Рахманов и Елена Иосифовна Катерли, критик Сергей Львович Цимбал, режиссер и художник Николай Павлович Акимов, и с нами, ленинградцами, был Расул Гамзатов. В том или ином сочетании мы стояли рядом с Паустовским. Теплоход имел несколько палуб, множество закоулков, глухих местечек между шлюпками, лебедками, но мы повсюду находили Паустовского и становились рядом. С ним больше можно было увидеть. От него исходил ненасытный интерес, от Паустовского мы заряжались. Молодой наш крепкий эгоизм ни с чем не желал считаться. Паустовский сам был виноват, он не умел отказывать в общении. Другие большие писатели, те бывают заняты своими мысля-

ми, недоступны, погружены... Позже я бывал с Паустовским в Дубултах, в Доме творчества. Вечерами мы собирались у него в шведском домике у камина. Но и днем Паустовский принимал приглашение погулять, посидеть, поболтать. Казалось, ему нечего делать. Как-то я спросил его, почему он неплотно притворяет дверь к себе в комнату. Он виновато усмехнулся: «А может, кто зайдет?» Прекрасное настроение беспечности и незанятости окружало его... Между тем за месяц пребывания в Дубултах он написал больше, чем все мы: Юра Казаков, Эм. Миндлин, я, хотя мы экономили каждый час и работали в полную силу.

На теплоходе Паустовский, устав, чаще всего сидел в шезлонге, дремал, не уходя с палубы. Каюта ему досталась плохая. Он пишет: «Каюта второго класса. Теснота. Койка как шкаф». Каюта его помещалась над машинным отделением, в ней все дрожало, позвякивало, гудело. Мы не знали, кто, как распределял каюты и классы. Нам-то с Сергеем Орловым было все равно где спать, мы могли уснуть хоть на самой турбине. Вскоре мы и устроились на палубе, ложились там вповалку на брезенте под зелеными звездами южного неба. А вот за Константина Георгиевича было обидно. В своей каюте он не высыпался, мы боялись, что путешествие для него будет испорчено. Сам он ничего не предпринимал. Он был из тех людей, которые могут хлопотать лишь за других. Меня отрядили пойти к начальнику круиза. Что такое круиз, я не знал, и никто не знал и до сих пор не знает. Но начальника круиза я знал, хотя он показывался на люди редко и его мало кто видел. Он значился больше в разговорах, чем наяву, как всякий большой начальник. На теплоходе ехало четыреста пятьдесят туристов, мы были в открытом море, за границей, и он был всем — и властью, и законом, и судом, и высшей инстанцией. Над ним была только радиомачта. Это был красивый мужчина с презрительно-благодушной миной и пресыщенно-усталым голосом. Выслушав мою просьбу, он плавно изогнул шею, осмотрел меня сверху донизу, до моих молочных туфель: «Мне надо перевести первого замминистра в другую каюту, для жены зампреда нужен люкс, и сын ее тоже нуждается, а вы тут с Паустовским. Машинное отделение? Ничего

страшного. Пусть выпьет на ночь коньячку. Писатели ведь принимают, а?» — и он лениво подмигнул мне. В тот круиз отправилось много важных людей. Например, один такой влиятельный деятель, все его знали, фамилия его постоянно упоминалась в газетах. Теперь он стал бывшим и с ним можно было постоять у борта и поговорить. Просто так. Он был без телефонов и без референтов и сам искал собеседников. Но вскоре оказалось, что говорить с ним не о чем. Он был скучный, всем недовольный. Когда я восхитился неистовой синевой Эгейского моря, он хмуро заметил, что наше Черное море синее. С нами ехала известная певица, ехали Тарапунька и Штепсель, Родион Щедрин, много милых, заслуженно известных людей, так что Паустовского сперва не замечали. Он умел быть незаметным, это его устраивало. В Стамбуле нас встречали репортеры, вот тогда многие обратили внимание, что фотографируют не их, а маленького морщинистого человека. «Паустовский!» — заговорили на корабле. В Греции интерес прессы к Паустовскому продолжался, в Неаполе его встречали с цветами. Это удивляло и раздражало некоторых. Начальник круиза забеспокоился. Он сказал мне укоризненно: «Что же вы не предупредили меня, что Паустовский известный писатель?» Тут же он перевел его в хорошую каюту. «Мы должны считаться с мнением иностранцев», — объяснил он. С нашим мнением он никогда не считался. Катерли, женщина крутая, резкая, прямо спросила его об этом. Он лениво изогнул брови: «Ваше мнение? Так оно же при вас и останется».

Неаполь. «Нарядность и уют улиц, которые как будто видел во сне», — записал Паустовский. А до этого: «Сказочный разворот Мессинского залива. Этна — огромный поднебесный вулкан. Синева». «Голубой небесный дым и тихое золото облаков. Древние страны человеческой мечты... Волнение до слез».

Невозможно перевести на бумагу прелесть тех картин, пряный воздух, тепло, чувства, что нахлынули на нас. «Волнение до слез» — это было внутри у каждого: и у Расула, и у Сережи Орлова, — но острее всех чувствовал Паустовский; нам не хватало выстраданности этого путешествия,

долголетнего ожидания. Ныне, спустя десятилетия, я шарю в своей душе, разыскивая, что же осталось от той красоты, от того замирания, когда чужие миры впервые распахнулись перед нами. Вроде бы ничего не осталось. Если бы не дневник в журнале, я бы и не вспомнил то путешествие. Столько было после него поездок, столько стран, городов, что то, первовиденное, потеряло цену. Но вот дневник... Не потому ли так взволновал он, что путешествие наше нежданно-негаданно стало историей?.. Нет, ничего там не случилось, все дело в том, что читается он как документ о другой эпохе, из минувшей жизни, с малопонятными ныне чувствами.

О нашем путешествии на «Победе» я никогда не писал. Оно осталось для себя, ушло внутрь, растворилось. Растворилось — и что? Что же от него осталось? Читая дневник, я вспоминал происхождение некоторых своих привычек, уроки, воспринятые от Паустовского. Так вспомнилось то, что произошло в Афинах.

У нас выпало несколько свободных часов после осмотра Акрополя, после музея, после обеда с концертом, с послом и тостами. Свободное от программы время. Главное — свободное от толпы своих, от пояснений гида, вопросов, команд старост групп. Это были блаженные, святые, самые драгоценнейшие часы, когда мы могли чувствовать себя путешественниками. Затеряться чужестранцем в иностранной толпе. Неизвестная площадь за углом. Холодок страха — ты один, далеко на чужбине, никто не знает, куда ты пошел, куда свернул. Гангстеры, шпионы, разведка и прочая мура, которой тогда набита была моя голова. Я предложил Паустовскому проехать город на автобусе, потом вернуться пешком, сверяясь с планом. Паустовский отказался, сослался на усталость. Зной этого огромного дня истомил, с утра мы карабкались по сухому холму к Парфенону; камни, небо — все было раскалено, выжжено, залито беспощадным неподвижным солнцем.

Паустовский сказал, что лучше он посидит под зонтиком уличного кафе. Он и меня пригласил, но я, выпив с ним оранжад, оставил его в непрочной тени кафе и ринулся в мраморную духовку города, в центр, оттуда в деловые кварталы, потом в район особняков, в толпу, в бульвары. Что за

той аркой? А там, в переулке? К тому же я ещё фотографировал. На автобусе до парка и обратно. Судя по плану, я обегал почти весь центр. Успел осмотреть все помеченное цифрами на карте. Я выложился в этом марафоне до отказа, как настоящий стайер.

Поздно вечером мы вернулись в Пиреи, на свой теплоход. Я был вымотан и доволен. Мы лежали на шезлонгах, и я рассказывал Константину Георгиевичу про Афины. То есть о том, сколько я исходил, обегал, о том, что я отщелкал три пленки, осмотрел почти все сто́ящее.

— А вы что успели? Где были? — спросил я.

— О, я так и просидел в этом кафе, — сказал Паустовский.

Было жаль его и было немного стыдно, что я, молодой, здоровый, расхвастался перед пожилым человеком, у которого не хватило сил носиться по городу. Он слушал меня внимательно, но как-то без обычного живого интереса.

Отплытие задерживалось. Вдали за пирсом сверкал люминесцентными лампами портовый кабак. Оттуда доносились музыка, шум. Там танцевали. Вышла рослая девка с тремя матросами. Двое были в беретах с помпонами, один в белой фуражке. Все трое стали драться, девица курила и ждала. Голубоватый, холодный свет в темной жаркой ночи делал зрелище театральным. Завыла полицейская машина. Полицейские в желтых рубашках выскочили, схватили двоих. Третий сидел, взявшись за голову. Девка исчезла. Представление кончилось. Побольше терпения — и мы могли дождаться следующего действия.

Пока мы шли к Италии, Паустовский время от времени рассказывал: сперва про парочку, которая сидела в афинском кафе за соседним столиком, он — китаец, она — молоденькая мулатка, потом про монахов-доминиканцев, про драку афинских мальчишек и продавца губок, про борзую и терьера, которые жили напротив кафе во дворе мраморного особняка. Конца и края не было его рассказам. Там, в кафе, к нему подсела старушка, американская туристка, она была из Ростова-на-Дону, вдова пароходовладельца, в Америке она помогала Михаилу Чехову, а дети ее учились у Питирима Сорокина.

И официант тоже знал русский и вступил в разговор с ними, он служил когда-то в Афонском монастыре.

Спустя месяц, дома, я проявлял пленки. То, что это Афины, я узнал только по буквам на вывесках. Больше всего меня поразил один памятник. Несколько раз я его отснял, с разных точек, но я совершенно не помнил этого памятника, ни площади, на которой он стоял. Судя по фотографиям, он был из белого мрамора. Фотографии были как чужие, сделанные кем-то, в незнакомом месте.

Перелистывая путеводитель, я наконец нашел, что это памятник Байрону. Сам я этого памятника не видел, снимал, а не видел, все внимание ушло на выбор освещения, экспозиции. И с остальными снимками обстояло почти так же. На фотобумаге появлялись незнакомые мне места, ворота, витрины. Ничто не откликалось этим снимкам, никаких воспоминаний. Были Афины или не были? Скорее, что не были, все слилось в потную беготню. Афины у меня остались прежде всего из рассказов Паустовского. Случай этот заставил усвоить совсем непростую истину: как много можно увидеть на одном месте. Путешествие не сводится к поглощению пространства. Нам кажется, что мы больше узнаем двигаясь, но о чужой стране можно многое узнать, просидев несколько часов в уличном кафе.

Урок был нагляден, но применил я его не сразу. Долго ещё было — побольше стран. А в стране — объездить побольше городов. Побывать там и там. Количество. Верх брало хищное крикливое количество.

Спали мы на шлюпочной палубе, застланной толстой парусиной. Приволакивали из кают свои матрацы и подушки и ложились компаниями. Однажды с нами лег Константин Георгиевич. Ночью проходили Гибралтар. Паустовский нас разбудил. Его разбудил капитан. Белье было сырое. Близко была Африка, она дышала из черноты раскаленными берегами, и ветер временами доносил тропическую влажную духоту. «Чувствуете?!» — спрашивал Паустовский. Время от времени из рубки общую нашу постель медленно обшаривал прожектор. Паустовский показал нам огни Гибралтара, крепостные сооружения, освещённые слабым желтым светом,

фигуры часовых. Сквозь темноту Гибралтар возникал как увиденный, обозначенный словами Паустовского. Глуховатый, чуть надтреснутый голос его обводил контуры, стертые туманом, ночной жарой, а то и невниманием нашим. И по сей день Гибралтар висит в памяти, как картина, вместе с той ночью, тихим ходом корабля мимо близких огней, что-то сигналящих...

В Ватикане мы встретили монаха-словака. У Паустовского в дневнике это обозначено тремя словами: «Монах, миссионер, эрудиция». А было так. Мы стояли на площади у собора святого Петра после того, как папа сверху благословил толпу паломников. Люди начали расходиться. Нас изумляло их благоговейное, а то и восторженное чувство к старику, который показался в окне дворца. В те годы мы не могли понять религиозного состояния западного просвещённого человека здесь, в центре Европы. Католицизм был нам неведом. «Верующий» означало, как правило, «темный, малограмотный», это были одураченные бабы, одинокие убогие старушки. Почему я говорю «мы»? Может, Паустовский, Рахманов, Катерли — люди старшего поколения — понимали религиозное чувство? Может быть, не знаю, но внешне разницы поколений здесь не чувствовалось. Епископов и кардиналов мы представляли главным образом из романов Стендаля, Дюма и из «Овода». Мы, во всяком случае, я и Серега Орлов, да и Расул, мы были невежественны, самоуверенны и все же смущены величием соборов, их красотой, толпами молящихся, нас поражали одухотворенные лица монахов в уличной толпе, францисканцы в коричневых власяницах, подпоясанных белыми веревками, стертая от поцелуев ступня мраморного святого Петра, которая торчала, как обломок кости.

Люди уходили, на их место слетались голуби. Мы стояли втроем: Паустовский, Рахманов и я. Услышав русскую речь, к нам подошел монах. Получилось так, что он подошел ко мне. Мы фотографировались по очереди, в это время фотографировали меня. Паустовский и Рахманов возились поодаль с аппаратом, монах обратился ко мне на хорошем русском языке: не туристы ли мы из Советского Союза, газеты писали, что в нашей группе есть несколько писателей. Не

здесь ли они? Скорее всего, это был священник какого-то крупного сана, потому что, когда ветер отдувал полу его черной сутаны, она вспыхивала алым шелком подкладки.

Русская его чистая речь насторожила меня. И совпадение насторожило. Почему он обратился именно к нам, ко мне? А он улыбнулся, слабо так улыбнулся, своей удаче, счастливому случаю, который помог найти тех, кого надо, поскольку время не терпит, тяжело больна сестра русского поэта, имя которого нам должно быть известно, Вячеслава Иванова, она работала в библиотеке Ватикана. Иванов хотел передать свои архивы на родину. Об условиях нам может сообщить его сестра. Живет она тут, в Ватикане, в двух шагах, не соглашусь ли я зайти к ней?

Вот они, настигли нас те иезуиты, о которых столько предупреждали. Все, все было подозрительно, начиная с русского языка. Первое чувство, когда кто-то незнакомый заговаривал со мною на русском языке здесь, на Западе, была настороженность. Паустовский кивал мне, довольный тем, что возник такой любопытный кадр: я беседую с монахом. Они там, в десяти шагах, ни о чем не догадывались, и с моей стороны было бы бессовестно вмешивать их в эту опасную историю. Монах продолжал приглашать, не понимая, что мне мешает пойти с ним. У нас действительно оставалось ещё около часа свободного времени. И что-то подкупало в открытом и печальном его лице. Я подумал: а вдруг все правда и надо бы пойти, — но тут же представил себе, как тяжелые ворота захлопнутся за нами, представил каменные подземелья Ватикана, лабиринты, стражу, темницы. Отчаянный, постыдный страх охватил меня. Кому я нужен в этом Ватикане, что с меня взять — об этом я не думал. Само собой полагалось, что каждый из нас — желанная добыча для» иезуитов. Представить только, что мне было уже за тридцать, я прошел всю войну, имел высшее образование, считался рисковым человеком... Помню отчетливо, как у меня промелькнуло: хорошо, что Паустовский фотографирует, монаха этого удастся разыскать, обнаружить.

Я залепетал о том, что если бы раньше, сейчас уже нет времени, мы должны уезжать. Монах вздохнул, извинился,

предложив записать адрес сестры, может, наши представители спишутся с ней...

Этот свободный час ушёл на хождение по прилегающим улочкам. В лавочках, вывернутых наружу, продавали сувенирно-ватиканскую белиберду. Вот мы ее и рассматривали. Жестяные распятия, блюдечки, висюльки, рогульки, гляделки, четки, иконки... Я чувствовал себя отвратительно. На войне, под пулями, вроде бы не трусил, даже вызывался сам несколько раз в разведку. Паустовский с Рахмановым меня утешали тем, что архивом этим никого у нас не заинтересуешь...

До этого случая я посмеивался над нашими спутниками, над их замечаниями, вкусами. Кто-то из наших туристов в Сикстинской капелле задал вопрос, от которого привычный ко всему гид пошатнулся: сколько весит Сикстинская капелла? Спросил, занеся свой карандашик над своим блокнотиком, куда аккуратно записывал квадратные метры росписи, количество фигур, сколько лет потрачено. Для полноты сведений ему нужен был и вес капеллы, ничего смешного! Мне всегда любопытно: какова судьба этих блокнотиков? Вполне возможно, что они-то и отбивали всякую охоту записывать.

По дороге на Капри к нам на пароходике пристроились два старичка-неаполитанца. Старики слабенькими голосами запели «Прощай, Неаполь», «Скажите, девушки». Пели мило, мы похлопали, одарили их папиросами и значками. Папиросы вызвали удивление, в них видели жульническое — табак набит не полностью, до половины! Все было умилительно-приятно, под стать сладостному пейзажу с профилем Капри, как бы нарисованному детской рукой, пока старички не сообщили, что все неаполитанцы хорошие певцы и хорошие любовники. Они сказали это «все» отчасти из скромности, отчасти же желая повеселить наших дам. За что и получили отпор. Две девицы из Свердловска, которые до того весело им подпевали, выпрямились и твердо заявили неаполитанцам, что наши любовники лучше. Это звучало всерьез, как отпор, никто не посмел спросить, откуда это им известно. Старички притихли, не понимая, за что на них прикрикнули.

На теплоходе наладился быт, веселый корабельный быт с танцами, играми, знакомствами. Мешала только жара. Мы не вылезали из бассейна. Можно сказать и так, мы вылезали из бара, чтобы влезть в бассейн. Я осваивал в бассейне купленные в Италии лазурные ласты, маску и трубку. В те времена акваланговая оснастка выглядела диковинно. Я затратил на нее половину полученной валюты. Все меня бранили, кроме Паустовского, глаза его мечтательно туманились при виде амфибийных этих доспехов. Ещё несколько лет среди купальщиков Финского залива, Коктебеля мое снаряжение вызывало зависть. Поначалу, как пишет Паустовский, я чуть не утонул, приучаясь нырять. Утонуть в бассейне я не мог, но вызывал страх у сидящих вокруг. Женщины сидели в купальниках, изнемогая от жары. Жара выгоняла их из наготовленных в поездку нарядов. Втуне пропадало искусство портных, модные платья с роскошными отделками. Остались просто женщины в купальниках, старые и молодые, ничем не украшенные... Мы уходили в бар, пили коньяк. Расул Гамзатов был неистощим на тосты и на байки, он мог пить, не пьянея. Мы все могли тогда пить, несмотря на жару. Николай Павлович Акимов пристраивался сбоку и рисовал кого-нибудь. Некоторые портреты получались сразу. Меня он повел к себе в каюту и заставил специально позировать. Мой портрет не давался. Получалось нечто перекошенное, старообразное. Акимов злился на меня. Спустя двадцать лет в Союзе художников было открытие выставки картин Н. П. Акимова. Меня просили выступить на открытии. Я сказал, что мое поколение росло среди удивительных премьер акимовского театра. Про акимовские декорации, своеобразные, неожиданные, всегда узнаваемые. Настоящему таланту присуще быть узнаваемым, не похожим на других. Театральные афиши Акимова были уличной живописью Ленинграда. Потом я пошел по выставке, вспоминая юность, старые спектакли, на которые попадал, выпрашивая лишний билетик, узнавал портреты людей, которых давно нет, которые доживали при мне последние свои годы, а я-то думал, что они будут ещё долго — Евгений Шварц, Юрий Тынянов, Николай Симонов, Ирина Зарубина, Михаил Лозинский... Среди графики я уви-

дел свой портрет. Один из тех неудачных набросков. Я не сразу узнал себя, таким я был там красивым и счастливым. Все же Акимов что-то схватил — нетерпение, взбудораженность того путешествия, когда я открывал для себя неведомые миры, то, что автомобили могут быть золотистые, карминовые, а не только черные, открывал Парфенон и оранжад, миллионеров, шлепающих босиком в Сорренто, и проституток, медленно едущих в открытых машинах, Лазурный грот и бананы. Я разглядывал рисунок, вспоминая, как я сидел у Николая Павловича, вспоминал его самого, острое лицо, едкий его язык, холодноватую иронию, которая и притягивала к себе, и отталкивала. Можно было порезаться. Слишком остро. Внешне Паустовский и Акимов были чем-то схожи. Небольшого роста, поджарые, смуглые, с индейским профилем. Но Паустовский не соответствовал своей внешности, он был мягок и терпелив, уютен и добр. В нем привлекала открытость, беззащитность.

«...Розыгрыш Гранина, радио мне от Симонова: “Прошу телеграфировать мнение французской общественности о последних стихах Грибачева”». А было так. На радиорубке я договорился с радистом. Он написал на бланке текст от имени Симонова. К. М. Симонов был тогда редактором «Литературной газеты». Обычно перед обедом объявляли на весь теплоход, кому есть радиограммы. Паустовский спустился в зал ресторана, размахивая зеленым бланком. Лицо его пылало от возмущения. «Что за чушь! Что они там думают, что в Париже строят баррикады? С какой стати я должен заниматься этими стихами? Смешно выяснять такие вещи. Не для этого я еду в Париж. Пусть не рассчитывают!» Он долго не мог успокоиться. «Симонов пользуется моим отношением к нему. Но это чересчур». Он хотел послать ответ Симонову. Пришлось сознаться в розыгрыше. Я сделал это не без смущения. Шути, да знай меру. Все же это был Паустовский. Надо было считаться с разницей лет и положений. Итак, я повинился. Некоторое время Паустовский разглядывал меня молча, взгляд его, колючий, металлический, был не очень-то приятным, но вдруг он расхохотался. Непроизвольно. Хотел рассердиться, но, видно, представил себя, потрясающего зе-

леным бланком, и расхохотался. Собственная доверчивость веселила его. Надо же быть таким болваном, таким легковерным дурнем. Тонкие морщинки смеха смяли, смягчили его лицо. Он был в полном восторге и думать не думал обижаться.

Вот тогда-то меня и озадачили его необидчивость и готовность первым смеяться над собой. От этого он нисколько не проигрывал, становился ближе и дороже. А что, если писателю, да и любому художнику, самоирония помогает? Паустовский умел смеяться над собой охотнее, чем над другими. Он относился к себе без всякого почтения, не заводил разговоров о себе, о своих книгах, рецензиях, успехах — этих пыльных клубах славы, которые иной сам же и поднимает. У нас перед глазами маячил пример в лице одного известного публициста. Все путешествие он говорил только о себе. Остальные темы были ему скучны. О чем бы ни заходила речь — о вулканах, о Бискайском заливе, о врачах, — через несколько минут все приходило к нему, к его особе. Самоумаление — он не понимал, что это такое. Но ведь оно бывало. Мог же Чехов признаваться, что не понимает жизнь. Мог же он говорить Бунину: «Меня будут читать ещё лет семь, не больше». Мог же наш великий историк С. М. Соловьев считать свою работу лишь расчисткой пути для тех, кто следом за ним должен написать историю России лучше него. Паустовский никогда всерьез не относился к своей писательской персоне и от этого только вырастал.

Как-то, живя в Дубултах, я отпечатал на машинке письмо, в котором работницы молочного завода в Майори приглашали дорогого писателя К. Г. Паустовского на свой вечер, посвященный Международному женскому дню. В затею были посвящены соседи по столу Эм. Миндлин и Юра Казаков. Получив это письмо, Константин Георгиевич стал уговаривать нас пойти вместе с ним. Мы согласились проводить его до клуба, где действительно должен был состояться вечер, висела афиша, из которой-то я и узнал про вечер. Мы проводили, но не ушли, остались ждать, готовясь к возвращению Паустовского. Миндлин несколько тревожился — бестактная шутка. Теперь и сам понимаю, а тогда отмахнулся: Паустов-

ский на такие вещи не обижается. В ту весну в Дубултах мы с удовольствием разыгрывали друг друга, подшучивали, подсмеивались над собою. Что мы есть — трава среди деревьев. Это сравнение мне тогда очень нравилось. А что касается того вечера в Майори, то мы ещё долго топтались под окнами освещённого клуба. Было холодно. Лужи покрывались хрустким льдом. Гремела музыка. Паустовского мы не дождались. Наутро, щуря глаза в неясной усмешке, он жалел нас: зря мы не зашли, сперва при его появлении произошло некоторое замешательство, но потом все обрадовались, и он провел чудесный вечер, а мы?..

Третий урок состоялся в Париже, в Лувре. Встречи с Парижем Паустовский ждал многие годы. Может быть, с юности. Он должен был увидеть Париж. В поезде из Гавра в Париж он сказал: «Подумать только — я мог умереть и не увидеть Парижа!» Из всех городов Запада русского человека почему-то более всего влечет Париж. Спустя три года после нашего путешествия Паустовский описал первое это свидание с Парижем в своем очерке «Мимолетный Париж». Тогда этот очерк мне понравился. Сегодня он читается плохо. Проступили банальности, болтливость. Книги стареют, как люди, становятся многословными, повторяют вещи общеизвестные, притом многозначительным тоном. Однако некоторые страницы очерка вдруг трогают ненынешним чувством авторского восторга и умиления. Сентиментальность приторна, наивна, и все-таки она нужна человеку. Ещё в первом прочтении меня удивляла память Паустовского, как много он увидел и запомнил, я был там же, смотрел то же самое и ничего этого не приметил. Целый рассказ у него про мальчика-лифтера, подробности нашего знакомства с Лидией Николаевной Дилекторской[2] и её сестрой, и то, как ехали к ней, в ее квартиру, и сама квартирка, увешанная картинами Матисса, и то, как мы ходили на Центральный рынок и что там было. Поразительно интересно, когда другой описывает то, что вместе видели, делали, пережили. Порою многое раздражает — и то было не так, и это. У Паустовского тоже не так, но у него

[2] Делекторская Лидия Николаевна.

не потому, что не так, а потому, что он больше увидел и домыслил. Увиденное для него лишь начало. Оно — завязка. В нашей маленькой гостинице в Париже он сделал весь ее персонал бывшими циркачами, стулья в ресторанчике расшатанными оттого, что на них делал стойки администратор — бывший акробат. Ничего подобного не было. Но могло быть, могло, потому что наша хозяйка была циркачкой. Одна она, и этого достаточно.

Про Лувр в этом очерке почти ничего нет. И в «Европейском дневнике» две короткие строчки. О самом сокровенном, личном он избегал писать. Оставлял для себя. Нельзя все для печати. Перед поездкой в Лувр Паустовский предложил нам троим — Рахманову, Орлову и мне — ограничиться минимумом. Не бегать с толпой экскурсантов из зала в зал, не пытаться осмотреть даже лучшее. Константин Георгиевич живо представил нам в подробностях: тысячи картин, и все знаменитые — Рембрандта и Веласкеса, школы всех веков, анфилады, переходы, этажи, разноязычные голоса гидов...

— А мы посмотрим только Нику Самофракийскую, Венеру Милосскую и Джоконду. Проведем у каждой полчаса и уйдем.

К тому времени нас уже слегка подташнивало от музеев Греции, Италии, от мраморных скульптур, памятников, фресок, картин, гравюр, росписей. Все слиплось в сырой ком. План Паустовского понравился своей решительностью и простотой.

Ника, безголовая, безрукая, была непонятна. Фантазии моей не хватало представить ее в целости. Красота ее тела, что светилось сквозь каменные складки прозрачной туники, не действовала на меня без головы, без лица. Красоты одного тела оказалось мало. Скульптура передавала подвижность тела, воздушность ткани так искусно, как ныне не могут. Если древние умели такое, можно ли говорить о прогрессе в искусстве? Движется ли искусство куда-нибудь? На галерный корабль такую фигуру ставили, на парусник — понятно, а на межпланетный она не пойдет, другую надо придумывать. Вот примерно куда меня завело, когда я разглядывал Нику. Чувств удивления и интереса надолго не хватило, зароились

разные мысли. Мы продолжали стоять перед нею. Я украдкой взглянул на часы. Прошло пятнадцать минут. Не так-то просто истратить полчаса на одну вещь. Никогда я такого не делал. Смотреть, а чего в ней ещё смотреть, все уже ясно. Изучать? Опять же — чего? Если бы я был искусствоведом... А уж переживать — тем более невозможно так долго. Непростое это оказалось дело. Куда легче двигаться, идти мимо разных полотен, гулять по музею, остановиться у какой-нибудь исторической сцены, полюбоваться красоткой, можно пейзажем. Прочитаешь подпись «Тициан» — ага, значит, надо ещё раз взглянуть, присмотреться, вроде и в самом деле гениально.

Постояв ещё немного, мы двинулись к Венере.

Как всякий, я навидался ее изображений. Теперь я стоял перед подлинником. Я знал, что должен волноваться. Кто только не стоял на этом месте, перед этим совершенным мрамором! Великие, известные, в сущности все просвещённые люди, что жили в Париже, и те, кто приезжал в Париж, все русские интеллигенты, все художники Европы, ее поэты, ученые, ее правители, — все считали необходимым являться сюда, к этой женщине. И вот теперь и я сподобился. И я смогу сказать, что видел Венеру Милосскую. Это было как вершина для альпиниста, отметка для получения разряда. Передо мною было воплощение женственности, общепризнанная мера красоты, гармонии, проверенная столетиями. Вспомнил очерк Глеба Успенского «Выпрямила». В самом деле, если бы можно было сосчитать, скольким людям помогла эта красота устоять, скольким вернула покой, силу, чувство любви к жизни, восхищения человеком?.. С Венерой, следовательно, разобрался, вникнул. А вот Джоконда...

Не хочу рассказывать о первом чувстве разочарования перед Джокондой, не это важно. О картине я писать не собираюсь, и о своих мыслях тоже. Что-то было вначале, а потом пропало. Никаких мыслей не стало, а был уход, я не заметил, как стал уходить в картину, погружаться в нее. И она уходила в меня. Так бывает, когда долго стоишь перед морем. Или лежишь, глядя в небо. За четверть века то чувство давно стерлось, осталось от него воспоминание того, как стоял я без

мыслей, забыв о времени. Через несколько лет, снова будучи в Лувре, я к Джоконде не подошел и больше не подойду. Очнулся я, увидев, что Паустовский плачет, и показалось это естественным. Мы вышли из Лувра, ни на что более не взглянув. Устали. Сели на скамейку и долго сидели молча.

Выходило, что одна картина может дать больше, чем целая галерея, если эту картину удается пережить. Выходило, что у картины можно простоять и полчаса, и больше. Одна картина, одна книга... Пусть не одна, пусть немного.

Недавно, будучи в Хельсинки, я увидел памятник Сибелиусу. Он стоит в парке. Я сел на скамейку и просидел перед ним долго, вволю. На скальном камне, на столбах подняты были трубы, пучок труб, нечто вроде органа. Трубы были разными, каждая повреждена по-своему — пробита как бы пулеметной очередью, разворочена, треснута, разрезана. Темный неясный смысл был в этих ранах, никак было не добраться до него. Орган пел. Ветер с озера исполнял свою музыку в исковерканных трубах. Звуки шли чистые, тихие. Сбоку, на гранитном отрубе, поблескивал стальной барельеф Сибелиуса. Был он отлит из той же стали, что и трубы вознесенного над нами органа. Портрет Сибелиуса показался необязательным. Не все ли равно, какая внешность была у композитора. Важна была его музыка, в которой есть эти озера, камни, сосны бедной северной природы, скупые ее краски, финны, сидящие в парке на тяжелых деревянных скамьях. Музыка создает внутренний образ автора.

Дул ветер, а вода озера лежала неподвижно, как стальной лист. Давно я не вспоминал Паустовского, хотя жил, пользуясь кое-чем из его уроков, — сидел в этом парке перед памятником потому, что когда-то стоял с ним в Лувре.

Читая скупые фразы «Европейского дневника», слишком скупые, так что теперь многого не раскрыть, не понять, я убеждался, что эта скупость уберегла дневник от старения. Дневник выгодно отличается от сделанных о поездке очерков. В нем идет непрестанная работа чувствования, стремление понять увиденное. В течение всего пути. «Вышли в Эгейское море. Лиловая шелковая вода. Шествие великих и древних островов. Лесбос. Колыбель человечества».

Замечали вы, что дневники вообще отличаются завидным долголетием?! Они не так быстро портятся. В них меньше литературщины, украшательства, крема. Дневник — он все же для себя. Даже лукавя и хитря и надеясь, что потомки станут вникать, все равно много тут «длясебятины», без расчета на читателя, без моды, без влияний. Паустовский записывал кратко, но аккуратно, почти ничего не упуская. Он вел записи, как судовой журнал. Прочитав дневник Паустовского, я стал спрашивать у всех, кто жив, у наследников тех, кто умер, — оказалось, никаких дневников или обстоятельных записей не осталось. Так, отдельные заметки. Писателей было человек десять. Почему мы ничего не записывали? Почему мы не считали себя обязанными? Почему не было у нас профессиональной потребности? Один Паустовский чувствовал себя путешественником, открывателем, землепроходцем. Это сегодня поездкой во Францию никого не удивишь. В 1956 году Паустовский ехал в Европу, как к инопланетянам. Европейские следы Бабеля, Маяковского, Пастернака были занесены, перепаханы войной.

В очерке о Неаполе «Толпа на набережной» Паустовский ведет рассказ, будто он приехал в Неаполь сам по себе. Нас там нет. Все приключается с ним одним, одиноким путешественником. В поездке с нами он втайне совершал и другое путешествие — без нас. Как бы самостоятельно, без огромной толпы туристов с автобусами, старостами, перекличкой. Как бы сам останавливался в отелях, знакомился, попадал в истории, не торопясь наблюдал чужую жизнь. Он путешествовал больше, чем ездил. Его любимцем был Миклухо-Маклай — «человек, обязанный путешествиям силой и обаянием своей личности». Он любил вспоминать Пржевальского, Нансена, Лазарева, Дарвина.

Большей частью мы становимся писателями, когда садимся за письменный стол, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется». Паустовский пребывал писателем и не работая. Он жил по-писательски, вел себя по-писательски...

Однажды, когда мы с Паустовским стояли у борта, на дрожащем от зноя горизонте океана показался пароход. Мед-

ленно вырастал из обреза воды нам навстречу. Паустовский разглядывал его в бинокль, судя по очертаниям, сказал он, это французский торговый пароход «Аякс». Построен ещё перед Первой мировой войной для перевозки вин и фруктов. Первым капитаном на нем был потомок Бенигсена, Альберт Бенигсен. И дальше Паустовский рассказал удивительную историю про то, как «Аякс», застигнутый штормом, искал убежища на африканском берегу в маленькой закрытой бухте, где обозначено было какое-то подобие порта. Однако пирсы оказались почему-то пустыми, в поселке не было видно ни души. Зной и безлюдная тишина царили на берегу. Пароход причалил, подал несколько гудков, в ответ послышался рев. На дощатый пирс вышел лев, за ним другой. Львы подошли ближе к чугунным кнехтам, не боясь ни парохода, ни людей, и ревели, но как-то странно — хрипло, прерывисто. За ними стали выходить львицы, молодые львы, львята, они заполнили весь пирс, берег. Они ложились и смотрели на пароход. Их набралось около сотни. Команда взялась за ружья, но Бенигсен не разрешил стрелять. Он внимательно разглядывал это невиданное скопление львов, затем приказал налить ведра воды, спустился с ними по сходням и поставил ведра перед львами. Его не тронули. Первый лев подошел, лизнул воду, потом стал не лакать, а втягивать ее. Они подходили один за другим. Бенигсен велел наполнить питьевой водой большой бак, что стоял на камбузе. Его снесли на берег и туда ведрами подливали воду. Львы толпились, как овцы. Они терлись боками о ноги матросов. Львам отдали почти весь запас пресной воды. Когда «Аякс» пришел в Пиреи, в цистернах не оставалось ни литра воды, команде выдавали вино. В Сицилии Бенигсен узнал о страшной засухе, поразившей Алжир.

Пароход меж тем приблизился. Без бинокля можно было рассмотреть на нем флаг с голубым крестом. Это был новенький финский лесовоз. Он прошел от нас неподалеку, и я удержался, — господи, как я благодарен судьбе или как там оно называется, что удержало мою не знающую снисхождения литературную молодость от насмешки, от того, чтобы уличить, ткнуть пальцем. Я был слишком привержен реализ-

му, я не знал, что делать с этой сентиментальной историей, придуманной на ходу, а может, переиначенной из какого-то его рассказа; не сразу я оценил прелесть сочинительства, игры воображения и выдумки. Что ему до этого финского лесовоза, он его не заметил, в упор не видел, его «Аякс» плыл всегда вдали, по лезвию горизонта, флаг был неразличим. Не ближе к жизни, а подальше. Паустовский знал жизнь, знал неплохо, но ему надо было отдалиться, чтобы черты ее не резали глаза; поодаль она теряла ту обязательность, когда останется лишь обводить увиденное. Если ему удавалось найти нужную дистанцию, можно было дорисовать свое, воображаемое. Жизнь давала толчок. Чуть в сторону, вбок. Его влекло необычное. Он умел высматривать среди монотонных будней что-то несостоявшееся. Это был нелегкий труд, жизнь старалась обернуться деловой трезвостью, служебными заботами. Вблизи жизнь угнетала, не допускала отклонений.

В Неаполе мы попали на карнавал. Маски кружились, танцевали, пели. Длинная набережная переливалась огнями иллюминаций, огромные картины были сделаны из неоновых ламп. На них катились экипажи, кони перебирали ногами, кавалер опускался на колено перед дамой, распускались кусты роз, юноша целовал красотку, она взмахивала рукой, и огненные птицы поднимались в небо. А в толпе черт с горящими рогами поднимал маску, и под ней оказывалась хохочущая девчонка.

Паустовский восхищался вместе с нами, но что-то смущало его, как будто он попал в один из рассказов Александра Грина. Как бы это выразиться... Такие вещи несовместимы: реальность и романтика. Либо — либо, одно убивает другое: «...и тут же распятья, где горят, как кровь, вишневые лампочки». И тут же рядом из лампочек рекламное изображение нового телефонного аппарата.

Акимов сказал нам о Евгении Шварце, что первое действие в его пьесах превосходно, а второго нет, не знает, чем кончить. Наблюдение это показалось справедливым, но Паустовский промолчал. Он сочувствовал не Акимову, а Шварцу. Необходимость выстраивать сюжет его угнетала. В этом было что-то от заигрывания с читателем. Если бы можно бы-

ло писать без сюжетов, как бы ни о чем. Ни о чем — это был для него идеал прозы. Интересное начало, оно у Шварца само по себе драгоценность.

Время от времени в романтике начинают нуждаться. Паустовского то покидают, то возвращаются к нему. У него свое отдельное место, его можно узнать сразу, по нескольким строчкам. Писать под него — несложно. Труднее воспринимать мир, как он, с удивлением и восторгом, увидеть окружающее блистающим и странным.

Под деликатностью милого доброго сочинителя между тем таились твердость, бескомпромиссность и спокойное бесстрашие. Мы испытали это в Болгарии, в Варне — первой нашей загранице. Впервые мы ступили на чужую землю. Было воскресенье. Десять автобусов ожидали нас в порту. Нас повезли по достопримечательностям, потом отпустили гулять по главной улице Варны. Движение было закрыто, и мы двигались вместе с толпой курортников, горожан. Не помню, то ли Сергей Орлов уведомил кого-то из своих болгарских однокашников по Литературному институту, то ли случайно повстречались в Варне. Помню лишь, как мы уселись в парке большой компанией. Молодые болгарские поэты, писатели, друзья Сереги. Ходили по рукам бутылки «Плиски», ракии. Читали стихи, нам пели болгарские песни. Были там, кажется, Джагаров, Блага Димитрова; очнулись мы, когда кто-то посмотрел на часы. Пять часов, то есть время отплытия «Победы». Мы бежали в порт, как, наверное, уже никогда после не бегали, за нами неслись болгары с бутылками. Белоснежная громада теплохода ещё стояла на месте. Но трап был уже поднят. Туристы толпились на всех палубах и, когда мы показались, закричали: «Вот они!»

Запыхавшись, мы остановились перед уходящей ввысь стеной борта, крохотные, приниженные. Стальная, холодная, она неприступно нависла над нами. Некоторое время нас выдерживали, как бы не замечая, потом спустили веревочную лестницу. Болгары, видно, не очень-то понимали, что нас ждет, они считали, что все обошлось, теплоход не ушел, это главное, и совали нам в карманы бутылки. Лестница раскачивалась. Я плохо переношу высоту, а у Сереги рука с войны

была изувечена, да и сноровки у нас не было. Мы взбирались с трудом. Как я теперь понимаю, мы вполне могли гробануться. В трезвом виде мы наверняка не осилили бы этой цирковой лестницы. Это было свинство, мы лезли и матерились, только злость помогла нам. Когда перевалились за борт, мы уже не чувствовали себя виноватыми. Шли сквозь строй, на нас смотрели с осуждением, были и со злорадством — сейчас вам, голубчики, выдадут! — и с возмущением — что позволяют себе! У нас отобрали паспорта, велели привести себя в порядок и ждать вызова в такую-то каюту. Мы отправились в бар.

Теплоход стоял ещё около часа. Нас хотели списать на берег. Паустовского вызвали к начальству и попросили, как старейшего, подписать от имени писателей просьбу отправить нас назад поездом за нарушение дисциплины. Паустовский благодушно развел руками: «Что случилось? Ничего не случилось. Подумаешь, делов, — сказал он. — Разве у нас воинская часть? У нас, по-моему, туристская поездка. Мы едем смотреть. Мальчики засмотрелись».

Неизвестно, что он там ещё говорил, но теплоход отчалил. После ужина нас позвали в такую-то каюту, там сидели начальники, в центре плечистый атлет, расчесанный на пробор. Он коротко допросил нас: с кем мы выпивали, где, — затем постучал пальцем по столу, как бы давая сигнал, и нас стали воспитывать. Никто не позволит строить тут из себя богему. Нам доверили, нас выделили, и в первом же порту мы подвели всех, это не просто нарушение, такие, как мы, способны... Ну ничего, даром нам не пройдет. Чем они только нам не грозили и здесь, и по приезде домой. Больше мы не сойдем, ни в одном порту нас не выпустят. Заграницы нам не видать. Будем куковать на теплоходе.

— Послушай, — сказал Серега тому атлету. — Ты где был на войне?

Был он, оказывается, в Москве, а потом в Куйбышеве.

— А мы на фронте были. Танкистами были, — пояснил Серега. — Чего ж ты нас пугаешь, дяденька?

Придя с войны, мы делили всех мужиков на фронтовых и тыловых. Никаких оправданий мы не признавали, все было

просто. Своими были только те, кто стрелял. Поначалу мы бренчали орденами, медалями, но нас быстро окоротили, здесь тоже награждали за дело. В моем КБ те, кто не пошел в ополчение, стали там, за Уралом, пока мы воевали, шишками. Послушать их, так они натерпелись больше нашего. И те, кто ошивался в штабах, редакциях, и химики, и ремонтники, и боепиты — у всех имелись заслуги, все были причастны. Может, и были, но мы перестали носить даже колодки. Единственное, что отличало фронтовых, — это нашивки за ранения, но их на пиджак не присобачишь. Так постепенно все размазалось не разбери-поймешь. День Победы и то нельзя было как следует отметить, поскольку он оставался рабочим днем. Это мы, конечно, перешагивали. День Победы был наш, с утра по проспектам катили тележки инвалидов, гремели костыли, по всем шалманам, забегаловкам, пивнухам пели, пили, гуляли. По-прежнему никто не выставлялся своими наградами. Фронтовик узнавал фронтовика и без того, не отмерло ещё чутье, нюх собачий на окопно-орудийно-танковую шатию. Вспоминали, узнавали, кто, где, как устроился. Многие — не очень. Фронтовик, ну и что с того, что фронтовик! Чего права качаешь?! Но выпадали моменты, когда фронтовое наше происхождение давало себя знать.

Часы, проведенные в Варне, были прекрасны, и плевать мы хотели на все дальнейшие заграницы. Пропадите вы с вашей Европой, с выходом на берег, с вашими запретами. Чем плохо сидеть в баре, плыть по океану, смотреть на порты и причалы, да о чем речь, счастье, что мы вообще живы, войну прошли и с тех пор одиннадцать лет живем! Мы отправились на палубу и запели под руководством Сергея Орлова: «Всю Европу за три перекура...» Была такая солдатская песня последнего года войны. Море нам было по колено и черт не брат. Константин Георгиевич уверен был, что все обойдется. Все и обошлось. «Раз вас не волнует, то и у них интереса не будет», — примерно так говорил он. Мы угощали его ракией, он учил нас жить. «Данила, уходить от женщины нужно так, — говорил он мне, — чтобы не заставлять ее страдать». «А от жены, — продолжал он, — взяв с собою только машинку и рукопись, ничего более».

При всей своей мягкости и доброте он мог быть непреклонным. Когда «Известия» напечатали статью, где разносилась книга Паустовского «Далекие годы», Константин Георгиевич написал опровержение. Газета опровержение не напечатала, но вскоре главный редактор, человек по тем временам влиятельный, позвонил Паустовскому и принес извинения, поскольку «факты в статье не совсем подтвердились». Что-то в этом роде. Паустовский ответил ему сухо: «Вы оскорбляете публично, а извиняетесь лично. Я не принимаю ваших извинений». И повесил трубку.

«Олеандры — деревья. Слова Гранина о чужой красоте». Что это были за слова, не помню, может, умное чего сказал, и пропало. Обидно. Хорошо было Гете, за ним Эккерман ходил, записывал. От этого ему, может, и думалось лучше, мысли появлялись. А тут в кои веки произнесешь — и сам не запишешь, и другие не подберут. Раздумья, досаду, печаль вызвала эта запись. Потери, потери... Например, про ужин в стокгольмской ратуше: «Речь Акимова». Ничего не расшифровано. Смутно что-то нащупывается — была какая-то речь, резкая, парадоксальная, мы ее потом долго обсуждали, но, сколько ни тереблю память, ничего не вытрясти. Разве что появился Николай Павлович Акимов на площади перед ратушей. Черный берет придавал ему вид европейский, в уличной толпе он не выделялся ни в Италии, ни в Швеции, артистическая натура его и природная элегантность помогали. Мы же сразу обращали на себя внимание. Прежде всего шириной брюк. Дома костюмы наши считались модными, здесь же на каждом шагу ощущали ширину штанин, они развевались, как черные паруса. Большей частью костюмы наши были черных и синих тонов. Кругом мужики сухонькие, в легоньких продуваемых костюмчиках, одеты, в сущности, кое-как, мы же — как чугунные, плечи — во, затянуты в галстуки, застегнуты на все пуговицы, брючины полощутся, и стараемся ходить толпой. Сами жались друг к дружке — то не стыд, что вместе. А с брюками куда деваться — в гостинице не сузишь. Женщины наши в своем обмундировании маялись ещё пуще, они на моды чувствительнее. Нас узнавали повсюду. Безошибочно. В парижском метро к нам с Сергеем Орловым

подошли двое, муж и жена, и сразу: «Здравствуйте!» Эмигранты. А мы ведь стояли молча. Казалось, ничем не выделяемся. В бобочках, без пиджаков, у Сереги борода рыжая — скорее, похож на норвежского моряка. А они — здравствуйте!

Было в этом узнавании и приятное — неожиданные знакомства. В Сорренто окружили нас бывшие итальянские партизаны, показывали свои военные фотографии... Но много лет ещё, когда брюки наши уже достигли общепринятой узости, плащи укоротились, исчезли шляпы зеленого велюра, нас каким-то образом продолжали узнавать. И в Японии, и в Финляндии, и в Сиднее. Только в последнее время это прекратилось. Может, потому, что мы перестали на это обращать внимание, и многие поняли, что можно пренебрегать модой.

Кое-чем мы и тогда пренебрегали. С трудом. Гипс вроде сняли, а суставы не могли сгибаться. Разрабатывать надо было.

«Гид, бывшая русская, старуха в перчатках, всем недовольная».

Сразу вспомнил ее усохшую плоскую фигуру, так и вижу эту стерву, всю от висючих кудряшек, словно из пакли, до высоких нитяных перчаток, забинтованную, запакованную... Водила она нас по Помпее, а в термы не пустила. Хотя положено было по программе. Нравственность нашу блюла — там, мол, неприличные картинки, похабщина никому не нужная. Ей, этой мымре, может, и ненужная, а нам в самый раз. Молодость наша, и без того обгрызанная войной, была урезана строгостью школьных запретов, институтских общежитии, где армия комендантов всю энергию устремляла на то, чтобы никто ни с кем, никто ни к кому.

И вот здесь, в Помпее, за тысячи верст от родимых ханжей, старорежимная эта белогвардейка лишала нас нашей законной программы, называла порнографией картины, сделанные две тысячи лет назад. Почему порнография? Для древних это было высокое искусство любви, культ любви с богатством ее радостей... Мы защищали древних этих мужиков лучшими словами, для нее же они были заодно с нынешними итальянцами — распутники, провонявшие чесноком.

Брезгливо поджав губы, она стояла на своем, непреклонно, истово. Конечно, мы сами пошли в термы. Наше, положенное — отдай! Отправились под шипение туристских дам: «Что о вас подумают! Какие интересы вы демонстрируете!»

«Гаага... Одинаковые домики, букеты цветов, колючий кустарник. С Акимовым по сумрачной улице. Велосипедисты с собаками в корзинах. Собаки лают на встречных».

Если бы так просто, без комментариев, записывать увиденное. Не вмешиваясь. Придерживая свои суждения. «Вереница нарядных машин. Золотой ресторан. Из Хемингуэя. Лакеи во фраках красивые, как Оскар Уайльд. Ужин без хлеба. Просьба хлеба вызвала смятение». Здесь лишнее: «Из Хемингуэя». Тем более что Хемингуэй терпеть не мог шикарных ресторанов. Остальное безукоризненно. И ведь так каждый из нас мог, по-своему, но так.

«Гранин купил фарфоровую мельницу, она играет “Ах, майн либер Августин!” Он обескуражен».

Интересно, чем это я был обескуражен? И вообще тут неточно. Мельница была деревянная. Мельница была прелестная, внутри у нее зажигалась лампочка, крылья вертелись, она в точности была похожа на ту мельницу у Дельфта, посреди багрово-золотистых полей левкоев, тюльпанов и роз. Мельница была дорогой. Опять над моей покупкой недоумевали. Впрочем, никто покупками не был доволен — кофточки плохо сидели, цвет не тот, туфли жали. А у Паустовского, если на то пошло, вообще произошел казус.

В Амстердаме нас привезли в универмаг. На сорок пять минут. Универмаг был огромен. Центральный зал, как театр, высокий, с ярусами галерей. Я не успел подняться, я застрял в отделе игрушек, сувениров, среди детских и взрослых развлечений. Неподалеку от меня, в этом же отделе, копались Елена Катерли и Паустовский. Как всегда, Паустовского тянуло к гербам городов и флагам. Катерли, кажется, уже что-то успела купить по делу, женщина в любых магазинах расторопна и быстро ориентируется. Паустовский же зарылся в автоматах, луках со стрелами, парусниках, бумерангах.

Мельница нравилась мне тем, что была игрушкой для детей и взрослых. Я купил ее не колеблясь. Продавщица пока-

зывала Паустовскому вертолет. Желто-зеленый. Тогда они назывались геликоптеры. Пружинный завод действовал долго, чуть ли не пять минут. Вертолет был прекрасен. Паустовский решил купить его. Для Алеши или для Гали. Скорее всего, для себя. Всегда мы выбираем игрушки, в которые бы играли сами. Я взглянул на часы, пора было выбираться к автобусу. Катерли уговаривала Паустовского не брать вертолет, он был слишком дорогой. «Что вы купили, Данила?» — спросил Паустовский. Я показал ему мельницу. Мы вынули ее из коробки, она заиграла. «Видите!» — торжествующе сказал он Катерли и заплатил в кассу. Продавщица хотела упаковать геликоптер, но в последнюю минуту Паустовский решил проверить его полет. Мы отошли, завели его, винт завертелся, набирая обороты, и Паустовский подбросил игрушку вверх. Машина медленно стала набирать высоту. Жужжа, она поднималась все выше, запрокинув головы, мы зачарованно следили за желто-зеленой птичкой. Мы ещё не осознали, что произошло. Издали нас окликнул староста, нас ждали. Вертолет неторопливо плыл где-то на высоте второго яруса, потом, так же не торопясь, почему-то стал удаляться в глубь галереи. «Воздушное течение», — удивленно сказал Паустовский и помахал ему вслед. Я порывался бежать наверх, искать вертолет, но Паустовский взял меня под руку и повел к автобусам. Продавщица что-то кричала нам вслед. Возможно, она просила подождать, а может, она хотела позвонить наверх, она не знала, что мы должны уезжать. Паустовский и ей помахал рукой.

В автобусе Паустовский сидел молча, глядя куда-то поверх голов, мечтательная улыбка не покидала его лица. Мы с Катерли хохотали. Почему-то никто из нас не испытывал ни сожаления от потери, ни сочувствия. Каким-то образом нам передалось ощущение Паустовского, и происшествие это превратилось в сказочную веселую историю. Она летела над нами до Северного моря, где на бакенах звенели колокола...

То был тоже урок, один из самых трудных уроков. До конца так и не усвоенный, имелся ещё какой-то секрет, которого я так и не постиг. Нет-нет да я и огорчаюсь, теряя какие-то вещи, упуская из рук возможности, они улетают,

а я досадую на себя и не умею видеть в этом волшебную игру судьбы.

Мельница сохранилась. И дочь, а затем внук почему-то ее пощадили. Правда, лампочка не горит, ключ утерян, заводить ее нельзя, краска стерлась, но если пальцем вертеть крылья, то кое-как, хрипя, дребезжа, она выводит: «Ах, майн либер Августин». Никто, кроме меня, этой мелодии не различает.

1982

✧✧✧✧✧

Леонид Рахманов

ПУТЕШЕСТВИЕ С ПАУСТОВСКИМ[1]

Мы познакомились с Паустовским давно, ещё в довоенной Ялте, но знакомство не закрепилось, и почти двадцать лет мы ни разу нигде не встретились. В 1956 году, в сентябре, состоялся третий за это лето рейс теплохода «Победа» вокруг Европы, одна из первых туристских поездок советских людей за рубеж. Московские литераторы предпочли участвовать в первых двух, в июле и в августе, и о том, что нам, ленинградцам, сопутствует Паустовский, я узнал лишь после отплытия из Одессы, уже перед самым Босфором. Произошло это так.

С книгой очерков Бунина о Ближнем Востоке, раскрытой на «Храме Солнца», я шел вдоль борта, вглядываясь в приближающийся турецкий берег. В продолжение часа, а то и двух, мы пойдем по этому удивительному, таинственному проливу, столь точно и лаконично описанному Буниным. Бунинский очерк начинался со слов: «Второй день в пустынном, пепельно-синем и спокойном Черном море». Вот и мы второй день — совпадение дословное. Только у Бунина апрель, у нас — сентябрь, но и тогда, и сейчас солнце греет совсем по-летнему, несмотря на вечер. Я иду, не спуская глаз с горизонта, на палубе пустовато, туристы ещё не настроились на Турцию.

У правого борта стоял человек; против света, против бьющего прямо в глаза заката, я не сразу его узнал. Паустовский стоял и смотрел туда же, куда и я, — на два каменистых мыса, означавших вход в Босфор, и в руках его был — Бунин! Тот же четвертый том, приложение к старой «Ниве», и даже, как после выяснилось, книга была заложена на тех же строчках: «...Предгория, расступаясь, медленно открывают устье

[1] Опубликовано: Нева. 1973. № 9; Воспоминания о Константине Паустовском / сост. Л. Левицкий. М., 1975. Публикуется по: https://vk.com/doc-1902233_226558654?dl=aca68542ea7bb16377 (дата обращения: 12 июня 2023).

Босфора. Пароход легко режет заштилевшее море и как бы уменьшается, приближаясь к четким линиям вырастающих впереди каменистых, серо-зеленых холмов Азии и Европы...»

Нетрудно догадаться, что столь внезапное совпадение интересов и вкусов нас быстро сплотило и уже ближайшие часы мы проводили вместе.

Наш теплоход вошел в Босфор раньше срока и должен был ждать утра, бросив якорь напротив маленького городка на подступах к Стамбулу. Мы с Паустовским бессменно дежурили на палубе, пока совсем не стемнело, наблюдая замиравшую на берегу вечернюю жизнь. Море в проливе, как видно, всегда тихое, потому что набережная почти вровень с водой, на асфальт вытащена красная лодка, бок о бок с ней на скамейке сидит старуха и вяжет. Между красивым костелом (не мечетью) и административным зданием с турецким флагом (минут через десять оттуда на катере приехал чиновник, и мы узнали, что это таможня) ютятся лачуги на сваях (значит, вода временами все-таки заливает набережную), висит белье на веревках, играют дети, а мимо катят и катят машины, важно расхаживают упитанные молодые полицейские в серых и кремовых костюмах, с пятью складочками на сапогах (приятно, что сумерки ещё не мешают их сосчитать!), и зачем-то стоит пожарный в каске, похожий на щелкунчика или на султана Абдул-Гамида, каким его рисовали в свое время карикатуристы. Все это нам помог рассмотреть наш верный друг — восьмикратный бинокль.

Утро встретило нас в Стамбуле. То ли потому, что мы оказались там первыми советскими туристами (в июле и в августе «Победа» не заходила в Турцию), то ли потому, что обслуживавшая нас греческая фирма была озабочена давним, не имевшим к нам отношения грустным событием — мы прибыли как раз в годовщину греческой резни, — но наши автобусы всюду сопровождал эскорт полицейских мотоциклистов в черных кожаных штанах и куртках. Естественно, что мы повидали в Стамбуле меньше, чем где-либо: нас высаживали из автобусов лишь у дворцов и мечетей.

Но и то благо! Правда, трудно сказать, испытал бы я без Бунина (и без Паустовского) чувство исторической зыбко-

сти и вместе с тем некоей фатальности, внушенное мне Айя-Софией: здесь все наслаивается одно на другое — власти, религии, обряды... Было странно бродить под непривычно низко висящими светильниками, не зная даже, можно ли их назвать паникадилами и кто их подвесил — греки или турки; среди мусульманских щитов и знаков на стенах, соседствующих с византийскими мозаиками; взирая с почтением то на патриаршее кресло, прилепившееся к гигантскому пилону наподобие ласточкиного гнезда, то на высоченное, в полтора роста, кресло для имама.

— Имам и не имам, — философски заметил Константин Георгиевич, вольно цитируя заглавие хемингуэевского романа.

«Ах, так! — с удовлетворением подумал я. — Стало быть, хватит музейного глубокомыслия! Стало быть, в отличие от Бунина, Паустовский любит перемежать эпос и лирику шуткой. Впрочем, Бунин в быту, в застолье, тоже, говорят, острил, смешил, веселился, — не позволял себе этого только в литературе».

Как ни стремительно мы перемещались по городу, на нас успевали глазеть. Я недаром употребил столь активный глагол — в других странах на нас совершенно не обращали внимания, здесь же автобусы с прикрепленными к ним на один день советскими флажками заставляли турецких граждан стремглав выскакивать из кафе, магазинов, лавок, выбегать на балконы, высовываться из окон и смотреть вслед — больше они ничего не успевали. Не скажу, чтобы это любопытство было нам особенно лестно, но мы платили за него тем же — смотрели во все глаза на мелькающих мимо нас мужчин и женщин. Потом мы с Паустовским признавались, что первая мысль у нас с ним была одна: что говорят, о чем думают, довольны ли они жизнью, интересуют ли их в такой степени, как нас, политика и социальные вопросы — и вообще, что за люди эти турки 1956 года? Кое на что ответить мы могли и сами: что большинство горожан одето весьма и весьма скромно; что сторожа и садовники дворцов, которые мы осмотрели, показательно живописные оборванцы; что на тротуарах, в тени домов, притулились уличные стряпчие и пис-

цы, печатающие что-то на обшарпанных машинках, — наглядное доказательство слабой грамотности населения...

Забегая вперед, скажу, что действительность нам и дальше ехидно подсовывала упрощенные социальные иллюстрации. На парижских ночных бульварах мирно спали бродяги, уютно завернувшись в многослойные буржуазные газеты; по Риму уныло тащились впалощекие люди-сандвичи, прославляя какой-нибудь изумительный, судя по рекламе, начертанной на их груди или спине, ресторан; в том же Риме пустовали целые кварталы новопостроенных домов — квартирки, видать, дороговаты для среднего горожанина; встречались и другие поучительные примеры.

Не могу похвастать, что я часто бывал за границей, но так случилось, что первая поездка была для меня все же самой щедрой. Не потому, что мы посетили шесть европейских стран: много ли можно за месяц успеть повидать, к тому же львиная доля этого месяца пришлась на пребывание в море. Мне повезло со спутником. Прирожденный скиталец, Паустовский изъездил Россию вдоль и поперек ещё с молодости; Крым, Кавказ, Прионежье, Мещёру, Приочье он описал во множестве рассказов и очерков, открыл для нас потаенные, преображаемые, а то и создаваемые человеком места (вспомним Кара-Бугаз), своей к ним любовью заставил полюбить их миллионы своих читателей. Но все это, повторяю, относилось к России, заграничных краев Паустовский не знал. То есть по книгам, картинам, фильмам знал отлично, особенно Средиземноморье, но своими глазами видел впервые. С откровенным, жадным, можно сказать — с детским любопытством вбирал он в себя путевые картины, — удовольствием было смотреть, как он это делает. При нем было бы стыдновато скользить по всему холодным, скептическим, безучастным взглядом; хотелось, как он, быть открывателем, первопроходцем тех популярных мест, которые до нас уже видены-перевидены, описаны-переописаны литераторами и нелитераторами. Ведь ему-то это не мешало. Он видел все как бы внове и чистосердечно этому радовался, а если узнавал слишком уж знаемое и затертое, то все равно радовался: на этот случай, как, впрочем, и на многое другое, у него имелся в запасе юмор.

Не следует думать, что мне всегда удавалось замечать то, что замечал он: во-первых, люди мы все-таки очень разные; во-вторых, мало кто обладает такой артистически развитой и отточенной наблюдательностью; наконец, он и сам мне писал через два года: «Вспоминаю наше плавание и открываю в нем больше и больше интереснейших частностей, которые сразу почему-то не запомнились, а всплывают сейчас».

Так вот кое-что всплыло и у меня. Наверно, нелепо писать о путевых впечатлениях пятнадцатилетней давности, но уж очень хочется вспомнить и рассказать о Паустовском, каким я его тогда узнал, а это тесно переплелось с тем, что мы вместе видели и слышали. Отсюда и заглавие очерка — «Путешествие с Паустовским». Пусть читатель не пугается — я не намерен подробно описывать наше давнее путешествие, день за днем, миля за милей... Скорее можно посетовать на обрывочность, бессистемность, случайность моих заметок. Например, в Греции я вообще, кроме набережной, ничего не видел. Почему? Из-за вульгарной простуды! Когда поздно вечером теплоход покинул Стамбул под звуки песни «Прощай, любимый город», с энтузиазмом исполненной самодеятельным корабельным хором, мы с Н. П. Акимовым и Паустовским долго ещё стояли на палубе, глядя на удаляющиеся огни большого, красивого, но, право, не столь уж любимого нами города... В результате обоим моим собеседникам, и закаленному сквозняками кулис Акимову, и болезненному, хрупкому Паустовскому, морская прохлада после проведенного в поте лица жаркого дня оказалась нипочем, у меня же, к моему стыду, через час начался озноб, к утру накачало 39,8°, и сутки напролет судовой врач, самоотверженно лишая себя редкой возможности без помех любоваться Мраморным и Эгейским морями, колол меня пенициллином и пичкал всевозможными экстренными лекарствами. Температуру удалось сбить, но досада и огорчение остались. Через два дня весь наш огромный туристский коллектив дружно двинулся на автобусах из Пирея в Афины, а я лишь глядел на это сквозь иллюминатор.

Зато вечером, вернувшись с экскурсии, Паустовский сразу же забежал ко мне и вручил кусок мрамора, поднятый им

у подножья Акрополя. Я был тронут, благодарил, хотя, помнится, где-то читал, что в таких местах муниципальные власти без устали подновляют россыпи мраморной крошки для легковерных туристов...

На другой день Паустовский снова наведался и, узнав, что мне лучше, что я почти здоров и послезавтра собираюсь вместе со всеми высаживаться в Неаполе, сказал, необидно посмеиваясь своим чуть хрипловатым смешком:

— Вчера я вас не хотел огорчать, вы ещё не окрепли для таких разочарований... Камешек-то, пожалуй, не древнеэллинский, как по-вашему?

Я не успел ответить, как он самым серьезным тоном добавил:

— А на всякий случай давайте сохраним по кусочку. Если этот мрамор и не имеет непосредственного отношения к Парфенону или к Акрополю, он все равно старше нас лет этак на миллион. Природный же, не фальшивый. Добыт в Каррраре...

Вообще Константин Георгиевич был образцовым дорожным спутником: добрый, веселый, заботливый, не по возрасту подвижной, легко подбиваемый на любое приключение, лишь бы оно сулило открытия, умножало опыт, — но при одном условии: чтобы это ни на волосок не нарушило раз навсегда установленных им для себя нравственных правил. Я редко встречал таких чистых и честных, кристально чистых и рыцарски честных людей, как Константин Георгиевич. При том, что он все подмечал и запоминал, — подмечал вовне, в окружающей обстановке, замечал в тебе, видел твои смешные черты и поступки, он никогда не употреблял своих наблюдений во зло, не ехидничал, не колол тебя своим знанием и видением насквозь твоих слабостей. Это не значит, что он над тобой не шутил: шутил и притом так смешно, что ты вместе с ним хохотал от души, но обидно и оскорбительно это никогда не было, его юмор не бил по твоему самолюбию, — он обладал тончайшим тактом, который оберегал его от таких ошибок.

Любопытно, что в литературной работе ему приходилось ошибаться. Там иной раз ему не хватало художественного такта и чувства меры, и тогда в рассказ, в повесть закрадыва-

лась красивость, сентиментальность, многословие, риторичность. В жизни этого не случалось, в жизни, в общении, в устных рассказах Константин Георгиевич был — не могу и не хочу подбирать другого подходящего слова — идеален. Трудно сказать, от бога это, врожденное, или он выработал это в себе постепенно, — думаю, что и то и другое. Юмор его в полной мере как раз проявлялся в устных рассказах — в них он был бесподобен, причем даже в пестром, смешанном обществе, например, в пароходном салоне. Даже, ибо обычно он был молчалив, застенчив, несколько угловат, избегал незнакомых или малознакомых людей.

На корабле мы с ним жили в разных каютах: нас ещё раньше, до встречи, поселили врозь, и изменить это оказалось невозможно. Кстати, его койка на теплоходе была неудобной и беспокойной — в узкой каюте, у самой двери, так что каждый раз, когда дверь открывали, она хлопала по железному борту койки. Правда, большую часть дня мы проводили на палубе: разговаривали, читали, ещё чаще молча любовались морем, а если земля была близко, то и сушей, — например, в замечательных по живописности и по историческому значению проливах: Босфоре, Дарданеллах, Мессинском проливе, Гибралтаре, Кильском канале. Огибая Пиренейский полуостров, мы наблюдали в бинокль довольно близко португальский берег — монастыри, башни, крепости, морские курорты. И уж нечего говорить, как прилипали мы к борту, когда теплоход входил в гавань и ошвартовывался у причала или бросал якорь на рейде.

В Неаполе наш теплоход долго ждал своей очереди посреди залива, и мы без конца могли любоваться его уникальнейшим в мире голубым простором. (Говорят, с ним может сравниться лишь бухта Сан-Франциско, но там человек перекинул через нее два моста, а здесь пока все натурально!) На востоке виднелся курившийся чуть заметным дымком Везувий, что дало повод поэту Сергею Орлову мрачно сказать:

— Кому Везувий, а нам не везувий!

Сергею Сергеевичу, как и всем остальным пассажирам «Победы», не терпелось скорее очутиться на берегу. Исклю-

чение составлял Паустовский: со счастливым лицом он смотрел и смотрел вокруг, сознавая, что как только мы сойдем с теплохода, начнется обычная суета и спешка — посадка в автобусы, вопросы туристов, пояснения гидов, — а здесь... здесь гладь залива, небо, Везувий, и можно спокойно всем этим наслаждаться.

Полной противоположностью для нас через две недели явился Роттердамский порт. Мы прибыли туда к вечеру, теплоход заночевал у причала, и на набережной нам выдали настоящую «апашиаду». Двое парней таскали своих подруг по асфальту за волосы, за руки, за ноги, с размаху бросали в кусты, били по лицу, и никто не обращал на это внимания: подъезжали машины, люди входили в расположенное рядом кафе, выходили, прогуливались по набережной. Зато все пассажиры нашего теплохода столпились у борта, так что мы с Паустовским всерьез опасались, не опрокинулся бы корабль на этот перегруженный бок... Сперва и мы, грешным делом, сочли эту драку стихийной, взаправдашней, но потом смекнули, что «апаши» устроили ее специально для туристов: «Хотите портовой экзотики? Получайте!..»

В Риме и в Париже мы жили в гостиницах, точнее — в них ночевали, ибо все остальное время туристов, как водится, занято беготней по музеям и кружением по городу и пригородам в автобусах. Когда мы с Паустовским вошли в номер римской гостиницы, нашим глазам представилось нечто напомнившее один зарубежный детектив, где в комнате все оказалось перевернуто вверх ногами — кресла, стулья, стол, ваза с фруктами, картины на стенах, — и все это для того, чтобы сыщик и читатели не заметили, вернее, не догадались истолковать так, как следует, одну деталь: белый воротничок у лежащего посреди комнаты трупа перевернут углами назад, галстук отсутствует, — дело в том, что убит был католический патер, но понять это следовало только в конце романа.

Убитого патера в римском номере мы не обнаружили, но стулья и кресла громоздились вверх ножками на столе, на кроватях, а картина с традиционными итальянскими пиниями повисла боком. Не скрою, столь откровенное пренебрежение правилами гостеприимства могло быть воспринято нами

кисло и отравить пребывание в Вечном городе, но мы, поглядев друг на друга, уселись на чемоданы и примерно с минуту хохотали. Затем поочередно умылись (вода текла из крана нормально, не вверх, а вниз), вытерлись носовыми платками (полотенца, увы, пока отсутствовали) и отправились на прогулку. Когда же, поздно вечером, мы возвращались домой после долгого, утомительного туристского дня, мы пытались угадать, в каком виде найдем наш приют. В номере все оказалось в порядке, даже картина висела правильно.

— Видите, — сказал Паустовский. — Войди мы утром в прибранный номер, мы так бы и не узнали, что к нашему приезду готовились, затеяли большую уборку. Мне нравится эта наивная показуха, очевидно, она в характере итальянцев. Правда, без нее было бы скучнее?

— Правда, — ответил я с достаточной долей искренности.

— Но даже если это была халатность, — неожиданно заключил Паустовский, — в этом тоже есть что-то простосердечное. Верно?

Как в Риме, так и в Париже Паустовский испытывал перед сном заметное беспокойство. Он давно был серьезно болен, его мучила астма. В тот год она докучала ему ещё не так сильно, как в конце его жизни, но все же он задыхался, ему было тяжело дышать, особенно ночью, в душном, маленьком номере. Перед тем как улечься, он трогательно просил меня не сердиться, если он будет хрипеть и кашлять, а утром долго допытывался, очень ли он мне мешал, — видно было, что это его тревожит. Но спать мне ничто не могло помешать: мы возвращались домой донельзя уставшие, ложились спать непозволительно поздно, если не сказать — рано, уже к утру: и на Италию, и на Францию у нас пришлось всего по три дня. Мы мечтали об одном: выдюжить! Не только не выбиться из программы, но и героически ее перевыполнить — желание, свойственное, наверное, всем туристам, — мы обшучивали его, но исполняли.

Деликатный, заботливый Паустовский в каких-то вещах был обидчив, мнителен, уязвим, особенно в том, что касалось его наружности. Ещё в начале нашего путешествия в каких-то «местных» газетах, кажется, итальянских, писали о том,

что русский советский писатель Паустовский забыл взять с собой шляпу (или потерял ее, только ещё ступив на теплоход). Как ни странно, но это они не придумали — Паустовский действительно где-то посеял шляпу, а солнце активно жарило, припекая голову. У меня были с собой и шляпа, и тюбетейка, и я охотно ссудил ему последнюю — шляпа была ему не впору. Константин Георгиевич не стесняясь ходил в этой старой, потертой чеплашке всюду, где его окружали чужие люди, не обращавшие на него внимания. Но как только он замечал, что его намереваются сфотографировать, он мгновенно стаскивал с головы тюбетейку и совал ее в карман. Он и мне не позволял снять его в этом головном уборе, как видно, ему непривычном, ассоциировавшемся с чем-то смешным и глупым. Кстати, среди шести сотен туристов было несколько человек в тюбетейках, и, как нарочно, все это были малоприятные люди.

Тем не менее мы с ним дивно запечатлели друг друга на фотографиях. Он меня — выходящего с гордым видом из модернового вида уборной на площади в Роттердаме, как раз наискосок от знаменитой железной скульптуры «Крик раненого города», а я его — на фоне гигантской стеклянной витрины с живописно расположившимися в ней молодыми болванами (манекенами) в пальто и без, в пиджаках и без, в шляпах и без. А без юмора он отлично снял меня за чашкой кофе на Капри и в купе вагона Неаполь — Рим, старомодно обитом внутри красным бархатом и увешанном всюду, где только возможно, копиями картин великих итальянских мастеров.

В поезде Гавр — Париж, в отличие от Италии, развешаны были «ню» в самых разнообразных позах, на пляже и дома. Объединяла оба экспресса лишь «безумная» по тому времени скорость — сто пятьдесят километров в час; в сочетании с бетонными шпалами и открытыми окнами (из-за небывалой для сентября жары) это создавало такой неимоверный шум, что разговаривать было почти немыслимо. Впрочем, в поезде Гавр — Париж мы уже несколько приспособились к грохоту и, закрыв наглухо окна, могли беседовать, тем более что в Гавре нас встретил корреспондент парижской газе-

ты «Русские новости» — бывшие милюковские «Последние новости», а теперь орган сочувственно настроенных к нам эмигрантов, многие из которых уже имели советский паспорт. Этот пожилой человек оказался дореволюционным приятелем и коллегой Василия Регинина, в те далекие времена редактора известного бульварного «Синего журнала», а в тридцатые годы ближайшего сотрудника нашего еженедельника «30 дней» и близкого знакомого самого Константина Георгиевича. И наружностью, и повадками этот русский француз походил на Регинина — богемистого вида, говорливый, бойкий, с красным носиком.

Единственно, кем он заинтересовался из нашей компании, это, конечно, Паустовским; как истый интервьюер, он прямо впился в Константина Георгиевича.

Насколько неохотно Паустовский отвечал на расспросы о себе (не потому, что говорил с эмигрантом и осторожничал, — он вообще не любил расспросов; если ему интересно что-нибудь рассказать, он сам с удовольствием расскажет), настолько же неподдельный интерес вызвал у него рассказ журналиста о своих приключениях во время войны и оккупации. Как он бежал с женой на велосипедах из Парижа, когда в 1940 году туда пришли немцы, как сразу же после освобождения Парижа вернулся и теперь живет там же, где жил и до войны, — в Булони (не в Булонском лесу, месте аристократических верховых прогулок, а в Булони — предместье Парижа). Видно было, что этот старый газетный волк сумел разбудить писательский аппетит в своем сверстнике из новой России, досадно только, что до Парижа из Гавра всего полтора часа пути — не успеть наговориться. А ведь, слушая рассказы журналиста, надо не спускать глаз с окрестностей, молниеносно проносившихся мимо окон. Остановки редки: Руан, Вернон — и обчелся.

Помню также, как заинтересовал Паустовского в Стамбуле сторож при бывшем султанском дворце, русский солдат, застрявший здесь после плена в Первую мировую войну. Вид у него был совсем нищий: рваная одежда, ни одного зуба во рту, худой, он грелся на солнышке у ворот. Паустовский заговорил с ним, чтобы, как он объяснил, узнать, помнит ли тот

что-нибудь о своей прежней жизни. Солдат помнил, но расспрашивать и слушать его было некогда, и Паустовский о нем ничего не написал, хотя, например, в его «Мимолетном Париже» существуют и чисто импровизированное персонажи и сценки.

На третий день пребывания в Париже мы решили отделиться от туристского коллектива и побродить пешком. Мы — это Паустовский, Елена Катерли, Даниил Гранин, Сергей Орлов и я. Начали мы с Центрального рынка, знаменитого Чрева Парижа, и правильно сделали: дни его были сочтены, чего мы тогда, конечно, не знали. Когда я уже писал этот очерк, мне попалась на глаза статья — краткий обзор реконструкций Парижа примерно за последние сто лет. Там говорится, что наибольший протест у парижан вызвала ликвидация Центрального рынка, точнее — не сама ликвидация и не перенесение его за город, а предлагаемые проекты — что на этом месте построить. Сохранилась напротив рынка, на краю площади, и знаменитая таверна «Курящая собака», которую мы с Паустовским сфотографировали. Мой снимок неважный, но все же я с удовольствием сейчас его разыскал и рад узнать, что таверна уцелела.

Уже за несколько кварталов до Чрева наши ноги начали погружаться по щиколотку, а местами почти до колен в стружки, опилки, мятую бумагу: все подходы и подъезды к рынку были завалены упаковочным мусором и остатками разбросанной тары. Торговля на этом рынке, как известно, оптовая, и происходит она рано утром, так что в десять часов мы застали ее лишь на кончике. Из двенадцати грандиозных корпусов мы успели забежать только в рыбный, вернее, морской, где наше воображение поразили неслыханной величины крабы, а также море разлившейся по бетонному полу талой воды: лед, в котором сюда привезли экзотическую морскую живность, к этому часу таял так энергично, что вода не успевала стекать в канализационные люки, и мы ковыляли на каблуках, стараясь задирать носки туфель кверху, чтобы не промочить ноги.

Думаю, что в выборе именно рыбного павильона сыграл роль профессиональный интерес рыбака и охотника Паустов-

ского, а ещё и то, что перед павильоном толпилось и суетилось с десяток монахинь — матерей-экономок и сестер-экономок, обеспечивающих своим монастырям постный, но вкусный стол. Для нас это было не меньшей экзотикой, чем лангусты и кальмары, особенно в сочетании с мотороллерами, на которых инокини подъезжали и отъезжали: нарядная, яркая расцветка этих элегантных машин, только недавно вошедших в моду, празднично контрастировала с черно-белой монашеской униформой. Конфузясь, спеша, пытаясь делать все незаметно, мы фотографировали со спины, сбоку садящихся на мотоседла молодых и немолодых монашек, — но вот то одна, то другая оборачивалась к нам с ободряющей улыбкой: мол, давай-давай, не бойся, снимай, чего там! Честное слово, эта улыбка не столь уж отличалась от улыбки вчерашней красавицы, которая маняще улыбнулась нам с Паустовским и Еленой Катерли, садясь в роскошную белую машину, когда мы бродили ночью в районе площади Пигаль. Мои спутники, один пользуясь привилегиями старшего, другая тем, что она дама, издевательски уверяли меня, что манящая улыбка целиком относилась ко мне, а я стыдливо открещивался, строя литературные гипотезы: мол, улыбка — это просто рефлекс, привычный сигнал, механически посылаемый в пространство, как посылает свои лучи маяк...

Покидая рынок, мы получили в подарок ещё одну улыбку, но уже иного рода. Когда мы склочно обсуждали проблему, как ближе пройти к острову Ситэ, к Новому мосту, мы невольно обратили внимание на то, что к нашим словам прислушивается пожилая женщина. Катерли, человек наиболее решительный и непосредственный из нас пятерых, спросила:

— Вы русская? Вы знаете русский язык?

С большим трудом удалось убедить эту женщину отвечать нам словами или хотя бы междометиями, а не только робкими жестами. Она смущалась, как девочка. Да, она русская, но она так давно здесь живет, ни с кем из русских парижан не встречается, что совсем забыла русский язык. Понимать понимает, а говорить... И вдруг заплакала! Тут наступил наш черед засмущаться. Когда, извинившись за невольно причиненную боль, мы расстались, пошли и в какой-то мо-

мент оглянулись, наша бывшая соотечественница все стояла, глядя нам вслед.

Не знаю, возможно, что эта встреча запомнилась бы мне в любом случае, но так вышло, что в памяти она тесно связана с Константином Георгиевичем. В продолжение дня, несмотря на множество впечатлений, каждое из которых, казалось, перекрывало по яркости все предыдущие, а главное — которых было чересчур много, Паустовский нет-нет да и вспомнит вслух эту женщину с ее смущенной и грустной улыбкой. Конечно, не исключено, что мы все немножко преувеличили ее переживания от встречи с нами, но это неважно, гораздо важнее казались тогда, да кажутся и теперь, наши собственные впечатления от этой встречи. Паустовский был для меня точным прибором, с которым я сверял свои чувства. Я видел, что ему до смерти хочется домыслить в воображении эту незнакомку, что он мысленно идет за ней по пятам, незамеченный входит в дом, в квартиру, видит, как она живет, кто ее окружает, и ему интересно — расскажет ли она своим близким о встрече с русскими или промолчит, или она сейчас одинока, муж ее умер, дети разъехались и забыли и пр. и т. п. Увы, эта женщина промелькнула, как за окном вагона, и больше мы ее никогда не увидим и ничего о ней не узнаем. Я видел, что это типичная писательская тоска по невозможности узнать весь день томила Паустовского, и я ему очень сочувствовал...

От рынка оказалось довольно близко до Нового моста, известного нам не только по литературе и фотографиям, но и по картинам Марке, который жил почти напротив этого моста и постоянно его изображал. Вблизи улицы Риволи и Нового моста возвышался большой универмаг Samaritaine, который нас мало интересовал, за неимением лишних франков, равно как и сверхлюдная улица Риволи с ее шикарными магазинами и лихо мчащимися автомобилями (теперь они, говорят, еле движутся из-за тесноты и избытка транспорта). Мы скорей побежали на мост, откуда с наслаждением увидали внизу, почти под нами, остров Ситэ, густо населенный историческими зданиями и остроугольно кончающийся вниз по течению Сены прелестным газоном и купами деревьев.

Своими очертаниями эта оконечность острова напоминает нос корабля или подводную лодку, но, в отличие от них, чрезвычайно идиллична. Мы сразу направились к другому, верхнему концу острова, где, вдоволь налюбовавшись собором Нотр-Дам (внутрь собора мы не попали — был закрыт на ремонт), каждый собрал себе под его стенами немного каштанов, — разумеется, нам подал пример Паустовский, по-детски любивший естественные, природные сувениры. Затем мы вернулись к Новому мосту, равнодушно миновав стороной Дворец правосудия и Криминальное управление, — тогда мы ещё не знали романов Жоржа Сименона о комиссаре Мегре, — и пошли по набережной Сены, которая изобилует, как мы убедились сами, букинистическими лавочками и книжными развалами прямо на воздухе; здесь мы опять же увековечили друг друга «ФЭДами» вплотную у книг, листая их и даже приобретя кое-что на свои скудные франки; не помню, что купил Паустовский, — я купил две маленькие монографии: «Утрилло» и «Тулуз-Лотрек».

Мы поднялись на четвертый или пятый этаж некоего дома на улице Расина, встретив на лестнице знакомого нам ещё по Москве известного французского критика и историка кино Жоржа Садуля, и вошли в прогрессивное, говоря точнее, коммунистическое издательство, возглавляемое Луи Арагоном.[2] Арагона в этот день в издательстве не было, нас принял директор Пьер Абрахам и секретарь журнала «Europe» Пьер Гамарра, поэт и прозаик, которого мы знали по переводам его книг. По правде сказать, у нас была маленькая задняя мысль: а вдруг издательство вручит Паустовскому гонорар за недавно вышедшую здесь его книжку! В каком-то смысле мы не ошиблись: нас дружески приняли, угостили бутылкой вина, каждому подарили по номеру журнала «Europe», Пьер Гамарра надписал нам свою книжку «Сирень на Сен-Лазар» и пошел проводить нас до отеля.

---

[2] *Арагон Луи (Луи-Мари Андриё*; 1897—1982) — французский поэт и прозаик. Деятель Французской коммунистической партии, участник Сопротивления, лауреат Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1957).

Тогда никто из нас не предполагал, что через несколько лет издательство начнет том за томом выпускать сочинения «Par Constantine Paustovski» и переведет их русская парижанка м-м Лидия Делекторская, с которой мы познакомились в Париже, что не раз потом она приедет в Россию — и к Паустовскому, и к нам, и на конференцию переводчиков по приглашению Союза писателей СССР, и для устройства выставки картин Анри Матисса по приглашению Эрмитажа и Музея изобразительных искусств имени Пушкина — и одарит нас чудесными монографиями Матисса, секретарем и другом которого Лидия Николаевна была много лет. Об этой прелестной женщине, которая восьмилетним ребенком была увезена в двадцатые годы из России, но любит ее всем сердцем, что уже доказала своими переводами *таких русских* книг Паустовского, написал сам Константин Георгиевич в очерках о Париже. Нынче, в свой очередной приезд в Россию, она подарила мне «Kara-Bougaz», надписав на глянцевой меловой обложке: «Этот вышедший к 80-летию Константина Георгиевича мой десятый Паустовский». К книге приложена подробная карта Каспийского и Аральского морей с прилегающим к ним сухопутьем, где все географические названия приведены на русском и на французском языках (как я заметил, Лидия Николаевна больше всего гордится этой картой, помещённой здесь по ее идее!).

Но все это было далеко впереди, а тогда мы с Гамарра по пути в гостиницу зашли во двор дома, где некогда жил Вольтер, заглянули во дворик дома, где зимой живет Пикассо, проехали в автобусе с открытой вместо входной двери задней стенкой и двумя ступеньками под ней во всю ширину кузова, — словом, рыдван весьма допотопного вида, как все мы гордо подумали, вспомнив наши московские и ленинградские автобусы.

Но вот парижские наши приключения кончились; снова поезд в Гавр, отплытие; Па-де-Кале; скорее угадываемые вдали, чем зримые, меловые холмы Англии; традиционный туман; тревожные гудки и сирены выныривающих из тумана встречных судов; плавучие буйки с колоколами, мерно качающиеся на волнах; море, опять море, море и море с промельк-

нувшими за один день на суше тремя голландскими городами — Роттердамом, Амстердамом, Гаагой, которые мы успели с рекордной быстротой объехать, осмотреть и отснять (если позволителен такой вульгаризм) нашими «ФЭДами»; очень кстати это был понедельник, единый для всех голландцев день стирки, и во всех дворах сушилось на свежем воздухе белоснежное белье...

И опять море, и целых полдня Кильского канала, — целых потому, что полдня — это очень немалый срок, особенно если сидишь или стоишь на палубе и неусыпно смотришь на берега, вдоль которых плывешь почти впритирку, стараясь хорошенько разглядеть и запомнить не только лица и костюмы людей, но и живописные группы коров или старинные, откровенно декоративные мельницы. Затем час шлюзования плюс короткая остановка в Киле (местные ребятишки бросают нам, а мы им медную мелочь — стихийный обмен сувенирами), вслед за чем оказываемся в Балтийском море.

Двухдневный (или полуторадневный, не помню) прыжок через Балтику; ранним утром вошли в фиорды, которые сложным, извилистым путем проводили нас в Стокгольм. Несколько часов неслыханной красоты шхер — островных и прибрежных скал, — а затем целый день (уже по-настоящему целый, с утра до ночи) в шведской столице, тоже скалистой, красивой особенной, строгой красотой. Множеством каналов и островов Стокгольм напоминает Ленинград, но все-таки Ленинград ещё красивее! Тут мы должны были признаться друг другу — мы устали. Устали от изобилия, разнообразия, пестроты впечатлений. Уже начиная с Голландии, восприятие наше начало притупляться. Даже у Паустовского! Шесть стран — это много. Любопытная психологическая деталь: так как, несмотря на конец сентября, в Стокгольме было необычайно тепло, все уличные кафе переполнены, на улицах масса гуляющих, по-летнему одетых людей, в скверах, в садах, на бульварах всюду сидят, загорают молодые и старые, блаженно подставив лица солнцу, — то мы ощутили, что остро завидуем этим беззаботно отдыхающим людям! Нам, труженикам-туристам, надо бегать, ездить, смотреть,

поспевать, познавать, знакомиться, а им ничего не надо: сиди, отдыхай!.. Да, перебор, устали.

Между прочим, в Стокгольме я побывал через два года; вполне отдохнувший за это время от заграничных впечатлений, я открывал для себя заново этот город. А в тот, в первый раз мы неожиданно провели в Стокгольме всю следующую ночь. Точнее, спали в своих каютах на теплоходе, который до утра стоял у причала: на море синее вечерний пал туман, и лоцман не решился ночью вести наш корабль через лабиринт фиордов. Поэтому днем мы ещё раз насладились их красотой. Затем новый морокой прыжок — и на следующий день Финский залив, мы почти дома.

Словно бы в качестве отдыха от этих могучих прыжков и избытка впечатлений, нас поджидал мелкий казус. Накануне прибытия в Ленинград мы решили наклеить на свои чемоданы яркие, показательно заграничные ярлыки и рекламки, которые нам вручили — в римском и парижском отелях: что им втуне лежать, пусть красуются на виду! Клея у нас с собой, естественно, не было, и Паустовского осенила идея: Рахманов, как более молодой, отправится в корабельную библиотеку и попросит на полчаса клей, — мол, Константин Георгиевич неважно себя чувствует и потому не мог пойти сам и здесь, на месте, подклеить вставки в свою рукопись... Сказано — сделано. За полчаса мы действительно успели налепить на чемоданы эти роскошные ярлыки, и я с удовлетворением отнес клей обратно в библиотеку. Увы, на следующее утро все наклейки с чемоданов слетели — клей оказался недееспособным! По-моему, Паустовский огорчился гораздо больше меня: я уже говорил, что этот честнейший человек питал пристрастие к мальчишеским хитростям и эффектам.

Правда, переживать неудачу не было времени, теплоход миновал Кронштадт, форты, шел Морским каналом, через считанные минуты предстояло ошвартоваться у причала Ленинградского порта, где в нетерпеливом ожидании толпились друзья и родные, пришедшие встречать нас с «победой»... (Москвич Паустовский тоже высматривал свою жену среди встречавших: Татьяна Алексеевна приехала к этому дню в Ленинград.) Но свидание задержалось. Мощный теплоход, со-

вершивший многомильное путешествие, застрял на подступах к финальной черте. Дважды уже рвался трос, и корабль относило на середину порта, и снова буксиры пыхтели и тужились, стараясь подтянуть нашу громадину к причалу. Дело в том, что чем более мы приближались к родным берегам, тем сильнее, строптивее становился встречный ветер, а здесь, в глубине гавани, он рвал и метал. Дошло до того, что встречавшие стали прятаться за пакгаузы и амбары, а мы — укрываться во внутренних помещениях теплохода, как нам ни было совестно и досадно...

Не надо забывать, что уже кончался сентябрь, на носу октябрь, а под наши летние пальтишки и легкие пиджаки поддеты лишь спешно извлеченные из чемоданов свитеры и фуфайки... Но вообще-то смешно: многоопытные моряки нас пугали Бискайским заливом, свирепствовавшими там частыми бурями, и мы с моей милейшей соседкой по столику заранее условились, как только пройдем Гибралтар и обогнем Португалию, в профилактических целях принять за обедом граммов по сто коньяку, чтобы не поддаться морской болезни; к нашей с ней земной радости — и к разочарованию романтика моря К. Г. Паустовского — Бискай встретил и проводил нас зеркальным покоем, зато поддержала свою хмурую репутацию Балтика. Пожалуй, за весь многодневный, многомильный круиз (это столь популярное у нас нынче английское слово только-только тогда появилось в туристской практике) нас изрядно покачало лишь здесь, что не заслуживало бы даже упоминания, если бы в наши дни, когда воздушные лайнеры со сверхзвуковой скоростью переносят нас на другой конец мира, морским путешествиям не грозила бы опасность стать в недалеком будущем «чистой воды» экзотикой.

И если бы, хочется ещё раз добавить, в нашем тогдашнем морском путешествии не участвовал Паустовский! Он смаковал каждую минуту общения с Нептуном, по-гречески с Посейдоном... Радовался при виде знакомого ему по любимым книгам и наконец-то встреченного лицом к лицу мыса, залива, пролива, порта, приморского городка... Когда-то он написал про самую обыкновенную пешеходную и трамвайную дорогу из Одессы в ее пригород — Большой Фонтан —

и на дачу Ковалевского: «Вся прелесть этой дороги, вся власть ее надо мной объяснялась близостью моря...» Как же он мог остаться хоть на момент равнодушным во время нашего морского вояжа? Скажем, я, проведший детство на Севере, в лесном краю, могу с наслаждением любоваться морем, горами, степным простором, новой и древней архитектурой, новейшими заводскими машинами да мало ли ещё чем, — но лесная опушка с молодыми елями и березами навсегда для меня останется самым родным и заветным местом. Вероятно, столь узкая избирательность — мой недостаток, и я мог позавидовать широте Паустовского: он любил и Кавказ, и Крым, и Тарусу на Оке, и Онегу на Севере, и многое, многое другое на свете... Но нет, все же море — море было самой любимой его стихией, я в этом каждый день убеждался. Вот почему мне вспомнились, захотелось перетолковать по-своему и применить к Паустовскому эти старые, давно ставшие банальными строчки:

Мою любовь, широкую, как море,
Вместить не могут жизни берега...

Так и кажется, что поэт писал о любви к морю...

На суше мы с Паустовским потом не часто встречались. Глубокой осенью того же 1956 года он пришел на премьеру «Беспокойной старости» в Московский Художественный театр. Премьера была примечательна тем, что состоялась через девятнадцать лет после того, как пьеса в 1937 году заинтересовала (но, как видно, не очень) МХАТ, а затем, не будучи им поставлена, обошла сцены не одной сотни других театров. Актеров старого МХАТа, которым предполагалось поручить роль Полежаева, уже не было в живых — Москвина, Хмелева; в 1956 году эту роль прекрасно сыграл Юрий Эрнестович Кольцов, а жену Полежаева — Ольга Николаевна Андровская. Я был очень рад видеть Паустовского на этом удавшемся театру спектакле, который потом МХАТ возил в Париж, в Лондон, в Токио, и Лидия Делекторская прислала мне из Парижа большое письмо-рецензию, а Паустовский из Москвы — шутливые строки: «Поздравляю с Лондоном. Говорят,

что клуб английских драматургов подарил Вам набор для игры в крикет».

На присланной мне тогда же книге «Золотая роза» Паустовский написал: «Ничто так не сближает людей, как совместное приближение к прекрасному. А мы это испытали во время плавания...»

Несколько раз мы встречались в Ленинграде, куда он ненадолго приезжал, и взапуски перебрасывались вдруг ожившими в памяти курьезными подробностями нашего путешествия. Как бывает в подобных случаях, все начиналось со слов: «А помните?..»

— А помните стол в Версале, за которым был подписан мирный договор?

— Ну как же! Со скатертью до пола и мягким пуфом, на который садились по очереди подписывавшие...

— Знаете, меня поразил в этом парадном зеркальном зале именно пуф: словно для красотки перед зеркалом. Какая-то домашняя утварь.

— Может, Клемансо и Вильсон хотели подчеркнуть, что раздел Европы — это их домашнее дело?

— Но кресло же удобнее. Пуф потому так и назван, что производит звук «пуфф!», когда на него садятся...

— Не придирайтесь. Вы уже начинаете походить на туристку, которая, помните, сказала: «Значит, у итальянского правительства не хватает средств, чтобы отремонтировать Колизей».

Кстати, она оказалась недалека от истины. Как сообщают нынче газеты, Колизей действительно надо ставить на капитальный ремонт: его так расшатал современный транспорт, что этот древний гигант стал руиной-угрозой!

Скоро наезды прекратились: Паустовский стал чувствовать себя значительно хуже и жил почти безвыездно либо в Тарусе, либо в Ялте. Не знаю, рассказывать ли о нашем последнем, грустном свидании в Ленинграде в начале шестидесятых годов. Я проводил его до вертящихся дверей «Европейской» гостиницы; прощаясь, он задержал мою руку в своей и тихо сказал:

— Наверно, вы обиделись на меня?

— За что? — спросил я.

Но я понял уже по его лицу, о чем он хочет сказать. За год до этого умер мой отец, и я сгоряча написал Паустовскому, что я нашел в доме отца, что он читал перед тем, как попал в больницу: томик Чехова, которого отец очень любил и читал мне вслух ещё в моем детстве, и один из первых томов начавшего выходить собрания сочинений Паустовского. Письмо было взволнованное, возможно даже — не в меру чувствительное, и это легко объяснить: мы с отцом дружили. Единственный человек, которому мне захотелось написать, был Константин Георгиевич. Он не ответил на это письмо, и я догадался почему.

— На ваше письмо, — продолжал он, — следовало ответить таким же письмом... или промолчать...

— Я знаю, Константин Георгиевич, — так же тихо отвечал я.

— Вы поймете меня, если я скажу: я уже не охочусь, не хожу на рыбалку... даже читаю меньше... — Он помолчал. — Ваш отец, вы писали, был тоже рыбак... — Он ещё помолчал. — Вы не сердитесь на меня?

Нет, я на него не сердился. Наоборот, я был тронут тем, что Паустовский сказал мне это. Я давно уже чувствовал, что напрасно написал ему такое письмо: своим эмоциональным накалом оно как бы требовало соответствующего отклика, а разве я имел на это право? Да и были ли мы настолько близки, пусть он даже писал мне: «Постоянно вспоминаю вас с какой-то особенной трогательностью...» Паустовский уже очень немолод и нездоров, ему необходимо успеть дописать свою «Повесть о жизни», — значит, надо беречь силы для работы. Теперь я особенно хорошо это понимаю, а тогда на какой-то момент романтик Паустовский оказался бóльшим реалистом, чем я: помог возраст и жизненный опыт...

Так случилось, что больше мы не виделись; писали краткие письма, изредка говорили по телефону. Константин Георгиевич ещё раз побывал во Франции и в Италии, съездил в Англию, где он до этого не был. Но все это уже через силу, скорей из последних сил. В 1968 году он умер. Я бранил себя в мыслях за то, что не удосужился с ним повидаться в его лю-

бимой Тарусе, куда он меня звал, или в Ялте, на его любимом Черном море. Всё ведь думаешь: нынче некогда, съезжу будущей весной... в крайнем случае осенью.

Не съездил. Не успел.

В прошлом году вдова композитора Виктора Николаевича Трамбицкого, Валентина Ивановна, рассказала мне о том, как Паустовский однажды захотел послушать клавир оперы «Настя-кружевница», написанный Трамбицким на сюжет повести Константина Георгиевича. У каждого из нас есть свои профессиональные привычки, капризы, желания, требования. Композитор Трамбицкий непременно хотел убедиться, что рояль в московской квартире Константина Георгиевича настроен достаточно тщательно, прежде чем проигрывать Паустовскому свою оперу. Сам Паустовский был в это время в Тарусе, его жена Татьяна Алексеевна позволила привести в свою квартиру настройщика, тот все сделал, что от него требовалось, но когда узнал, что настраивал инструмент, принадлежащий писателю Паустовскому, ни за что не взял денег... Объяснил, что чтение произведений этого писателя с избытком вознаградило его за работу. Единственно, о чем он пожалел, — что закончил работу до возвращения Паустовского в Москву, не повидал его, не познакомился...

У меня огромное преимущество по сравнению с этим настройщиком: я провел с Паустовским бок о бок целый месяц. Облететь, объехать не только Европу, но весь земной шар можно и сейчас — и все же это будет не то: на свете нет больше такого дорожного спутника, как Константин Георгиевич Паустовский.

✧✧✧✧✧

И. А. Снеговая

«...Я ПРОСТО ЖИЛА»

Так написала Лидия Николаевна Делекторская в письме Константину Георгиевичу Паустовскому, которому она рассказывала историю своей жизни, оказавшейся поистине удивительной и вписавшей ее имя в историю искусства навечно.

Фамилия «Делекторская» семинаристского происхождения. В России была традиция давать семинаристам для благозвучия искусственные фамилии, образованные от латинских или греческих глаголов, отмечая достойных, что и случилось, видимо, с предком Лидии Николаевны. Латинское «delectus» — избранный или «delectare» — восхищать, радовать явно сообщают об отличии того, кому эта фамилия была предназначена. Вот и для Лидии Делекторской она оказалась судьбоносной. Не в значении «счастливый», но «исключительный».

Родилась она в 1910 году в Сибири, в городе Томске, в семье детского врача Николая Ивановича и Веры Павловны Делекторских. Обеспеченное детство с предсказуемым будущим было опрокинуто событиями революций и Гражданской войны. Отец и мать скончались от эпидемий тифа и холеры, пришедших в Сибирь в 1920-х годах, и тринадцатилетняя девочка осталась сиротой. Сестра матери забрала осиротевшую Лидию к себе и вывезла её в Манчжурию в 1923 году. В Харбине девочка окончила школу, потом оказалась во Франции. Хотела, как её отец, стать врачом, даже поступила на медицинский факультет Сорбонны, но денег на обучение не было, и мечту пришлось оставить.

В 19 лет она неудачно вышла замуж, через год рассталась с мужем. Перебивалась случайными заработками, так как положение эмигрантки во Франции лишало её права постоянной работы кроме сиделки, натурщицы, статистки. Конкуренция среди эмигрантов, наводнивших Францию, была высокой. Лидия была застенчива, работа модели для художни-

ков не вызывала у нее ничего, кроме отвращения, и будущее молодой женщины без средств, с плохим знанием французского языка и с эмигрантским паспортом выглядело туманным. Она оказалась в Ницце, и здесь вмешался Его величество случай.

Лидия Делекторская прочитала на остановке автобуса объявление, сообщавшее, что требуется ассистентка для помощи художнику в работе. Этим художником оказался знаменитый Анри Матисс, работавший над заказом для американского коллекционера. Лидия понравилась, Матисс её нанял. После окончания работы над панно «Танец» нужда в помощнице иссякла, и её рассчитали. Лидия снова оказалась без работы, но вскоре потребовалась сиделка для заболевшей жены Матисса. Супруги вспомнили о понравившейся им исполнительной и скромной русской эмигрантке и вызвали её. Так Лидия Делекторская вошла в семью Матисса.

То, что он был прославленным художником, Лидия, по её рассказам, понаслышке знала, но это не задевало её, так как она была далека от сферы искусства и его интересов. Сама жизнь вынуждала её совсем к иному, она боялась потерять работу и снова вернуться к мучительной неопределенности своей прошлой жизни. Ей было всего лишь немногим за двадцать, пожилая пара отнеслась к ней хорошо и исправно платила, а она старалась всё выполнять безукоризненно. Ею были довольны и даже предложили поселиться в доме, чтобы было удобно всем. Она переехала в дом Матисса в октябре 1933 года. И эта, в общем, гармоничная жизнь в чужой семье, где Лидия была полезна, мадам Матисс относилась к ней с симпатией и даже поверяла ей свою непростую жизнь с ярким, увлекающимся, выдающимся супругом, могла бы продолжаться долго и безболезненно для всех. Матисс мало внимания обращал на высокую белокожую русскую «Снежную королеву», так как этот типаж его не привлекал. Его моделями всегда были темноволосые смуглые южанки, чувственный тип которых подчеркивал буйство красок, отличавшее знаменитую манеру художника. Цвет царил на полотнах Матисса, в крови которого, по выражению друга-соперника Пабло Пикассо, жило солнце.

В 1935 году Матиссу исполнилось уже 65 лет. Прославленный художник стал ощущать, что наступила творческая усталость от прежней манеры работы, исчерпанность замысла. Он искал и не находил для себя какого-то нового взгляда на мир, чтобы вернуть вдохновение. И снова вмешался случай...

По воспоминаниям Лидии, художник однажды увидел ее в любимой позе, сидящей со скрещёнными руками на спинке стула. Что-то его поразило, и он стал зарисовывать ее в этой позе. С этого момента он по-настоящему увидел ее красоту. Художник словно проснулся, обретя новое дыхание. Если его что-то захватывало, он отдавался полностью своему увлечению: делает с Лидии десятки набросков, изучает ее лицо с невероятной пристальностью, при помощи одной чистой линии создает объем. Он фотографирует ее, наряжает в различные наряды и драпирует в ткани. Он ею любуется. По сохранившимся фотографиям и рисункам видно, что русская модель его заворожила.

В 1911 году Матисс посетил Москву по предложению своего заказчика, русского купца Сергея Щукина, который был восхищен творчеством художника и делал ему заказы для оформления своего особняка. Матисс, любивший всё экзотическое, оценил яркую праздничную Москву с её полувосточным колоритом. Его водили по московским храмам, где, среди прочего, он увидел иконы. О впечатлении он рассказал журналистам:

«Я видел вчера коллекцию старых икон. Вот большое искусство. Я влюблен в их трогательную простоту, которая для меня ближе и дороже картин Фра Анджелико. <...> Я жду многого от русского искусства, потому что чувствую: в душе русского народа хранятся несметные богатства; русский народ ещё молод. Он не успел ещё растратить жара своей души».

Лидия Делекторская была молода и была русской, то есть была из другой жизни, к которой мастер прикоснулся лишь однажды, но памятно для себя. И вот двадцать лет спустя он берётся исследовать эту «другую» как источник свежих идей и иного взгляда на мир. Потому так высока интенсивность творчества в это время: с 1935 до лета 1939 года он делает с Лидии около девяноста работ. Чистота и свет поража-

ют на рисунках Матисса этого периода, какое-то внутреннее целомудрие изображения, столь контрастирующее с пылкостью и буйством красок его прежних картин, за что критика некогда прозвала его «Диким». Художник пытается разгадать тайну своей «Снежной королевы», которая во время сеансов рассказывает о своём сибирском детстве, всё ещё снившемся ей, возвращая утраченную Россию. Эти сеансы позирования, эти разговоры, эта погруженность мужа в новое увлечение разбили благополучную обстановку спокойной жизни в доме Матисса. Его жена не выдержала потери своей прежней роли рядом с ним и сделала серьезную ошибку: поставила ультиматум, заставляя мужа-художника выбирать между ней и новой моделью-музой, которая невольно открыла ему новые горизонты творчества и стала его вдохновеньем. Первоначально, уступив жене и уволив Лидию, Матисс потерял стимул к работе, перестал писать и впал в депрессию. Когда-то художник предупреждал свою будущую невесту о том, что творчество в его жизни всегда будет главным. Так и оказалось. Уйти в результате пришлось Амели Матисс, несмотря на многое, что она когда-то сделала для мужа, несмотря на сорок лет брака. Она всё поняла и уехала к дочери. А Матисс вернул Лидию...

В жизни художника Лидия Делекторская отныне заняла исключительное место. На ней держался весь дом, она исполняла обязанности секретаря, экономки, модели и поддерживала мастера во время приступов астмы и бессонницы, которые мучили немолодого уже человека. При деликатности и щепетильности Лидии, которая понимала, что попала в сложное положение, которое посторонние могли истолковать по-своему, она всячески оберегала свое подчиненное положение. Работала за жалование; когда не позировала, одевалась очень скромно, спала на этаже, где ночевала прислуга. По словам людей, их знавших, Матисс и Лидия обращались друг к другу на «вы», строго, церемонно. Она безропотно исполняла все его распоряжения. Недаром, хотя она вела и все его дела, связанные с творческими задачами, от устройства выставок до выбора материалов, включая качество бумаги для рисунков или камня для скульптуры, ее прозвали «пре-

красная рабыня Матисса». Художник исподволь развивал ее художественный вкус, воспитывал в ней критическое чутье, что сделает ее позднее серьезным знатоком его творчества: она – автор двух книг о Матиссе: «Кажущаяся легкость» и «Против ветров и течений».

Лидия вырастала рядом с гениальным художником как человек, как личность. Она оказалась в кругу людей, среди которых были Пабло Пикассо и Марк Шагал. И человеческий талант Лидии Делекторской заключался в том, что она сумела оценить этот шанс судьбы как счастье, она осознала, с кем рядом ей выпало быть, и Матисс, по ее словам, стал главным смыслом ее жизни. Преданность Лидии, полная растворенность в жизни мастера, исполнительность и деликатность, которые она проявляла, сделали ее совершенно незаменимой для него. По свидетельству людей, близко видевших их отношения, обоих соединяла глубокая духовная близость, основанная на общем деле – служении искусству как поиску истины. Матисс добивался совершенства, делая сотни эскизов, уничтожая негодные, по его мнению, и понимание, которое проявляла Лидия к главному делу его жизни, к его здоровью, его потребностям и даже к его капризам, без слов говорило об исключительности ее роли рядом с художником. Недаром он заметил: «Изображая её, я с удивлением начинаю видеть себя». «Учитывая поэтическую природу моей работы, мадам Лидия мне крайне необходима», – писал он сыну. Вот почему с началом Второй мировой войны, имея возможность уехать на другой континент в безопасное место, Матисс отказался уезжать без Лидии и остался во Франции: «Вместе с моей няней и секретарем мне ехать нельзя, а жизнь без мадам Лидии для меня немыслима».

В 1941 году художник перенес тяжёлую операцию (ему диагностировали рак), Лидия Делекторская выхаживала его. Ближайший сосед Матисса, Адриен Маг свидетельствовал: «Если бы не Лидия, он бы не выжил». Война принесла дополнительные трудности с отоплением, продовольствием. Сибирская закалка Лидии пригодилась. Она раздобывала провизию, проезжая на велосипеде по дальним деревням. Научилась приемам бокса для защиты от мародеров, разыскива-

ла топливо для камина, завешивала коврами окна и двери, чтобы сохранить тепло. И она же поддерживала надежду и веру в мастере, переживавшем о судьбе своих родных, связанных с французским Сопротивлением. «Она научила его ходить в церковь», — рассказывала племянница Делекторской Галина Лавровская. Матисс не считал себя верующим, но говорил, что, когда он работает, трудиться он должен в состоянии, близком к молитве.

Несмотря на обстоятельства войны, страх за близких, многочисленные болезни, Матисс искал в своём творчестве, по его выражению, «уравновешенного» искусства, дающего зрителю радость и успокоение. Характерно, что портреты Лидии Николаевны Делекторской, особенно рисунки в его исполнении, полны умиротворяющей нежности, которой хочется любоваться без конца. Но, конечно, время и ответственность, которая легла на ее плечи, сильно изменили её. Прежней застенчивой молодой женщине пришлось многое перенести, научиться быть жесткой, чтобы защищать мастера от назойливых посетителей, беречь его время для работы, которая всегда оставалась главным в его жизни. Она рассказывала, что ее даже прозвали «фурией» и «цербером», хотя всех поражали решительное спокойствие и выдержка, которую она при этом проявляла в отношениях с людьми. Особенно это помогло в конце жизни Матисса, когда он создавал, по его выражению, «лучшее произведение своей жизни» — оформление Капеллы чёток или Капеллы Розария в Вансе, как её называют во Франции. Это была часовня женского монастыря доминиканского ордена, построенная по проекту и при участии Анри Матисса. Архиепископу Ниццы Матисс писал: «Работа над Капеллой потребовала от меня четырёх лет исключительно усидчивого труда, и она — результат всей моей сознательной жизни. Несмотря на все её недостатки, я считаю её своим лучшим произведением». Лидия Делекторская рассказала об этой работе художника в заметках «Подлинная история Капеллы Ванса». Для неё эти годы, особенно когда началось строительство, стали очень тяжелыми. Хилари Сперлинг в своей книге о Матиссе пишет: «У Лидии не было ни выходных, ни свободных вечеров. В одиночестве

ей удавалось побыть только поздно вечером, когда, закрыв дверь своей комнаты, она наливала себе рюмку крепкой, ею же приготовленной наливки и доставала сигарету. Матисс называл Лидию своей Снежной Королевой, постоянно говорил о её выдающихся качествах, с трудом переносил расставание с ней, но при этом знал, как вывести Лидию из себя, чтобы она потеряла контроль и выругалась по-французски. Выглядящий как профессор математики, в очках с тонкой оправой и задумчивыми глазами, Матисс был внутренне заряжен огненным темпераментом гения, требующего безусловного самоотречения и служения и от себя, и от всех, кто близко к нему приближался. Это служение творчеству Матисса Лидия Николаевна Делекторская продолжила и после смерти Мастера в ноябре 1954 года, работая над трудами о творчестве художника, участвуя в устройстве музея Матисса в городе, где он родился, Ле-Като-Камбрези, и способствуя его известности во всём мире. Сотрудница музея Ле-Като-Камбрези свидетельствует: «Если бы не Лидия, мы не могли бы сделать этот музей. О Матиссе она знала всё».[1]

[1] «Энтузиазм, с которым повсюду встречали Матисса, был взаимным. Он заявлял, что только в Москве повстречал знатоков, способных оценить последние достижения современного искусства, всякий раз повторяя, что именно богатое прошлое помогает русским понять будущее. На ужине у Остроухова Матисс весь вечер любовался иконами и затем заявил, что "только ради них стоило приехать в Москву и из города, даже более отдаленного, чем Париж". От возбуждения он не мог уснуть всю ночь. Узнав об этом от Щукина, Остроухов, бывший попечителем Третьяковской галереи, пригласил французского гостя посмотреть залы с иконами. "Я десять лет потратил на искание того, что ваши художники открыли еще в XIV веке. Не вам надо ездить учиться к нам, а нам надо учиться у вас", — любил потом пересказывать Щукин слова Матисса, сказанные им перед иконами в Третьяковской галерее, откуда Остроухов с огромным трудом увел его через два часа.

К Матиссу как к художнику Остроухов относился более чем сдержанно, но восторг француза перед русской иконописью его покорил. "Матисс мне чрезвычайно симпатичен... удивительно тонкий, оригинальный и воспитанный господин, — писал Илья Семенович, оставивший все дела, чтобы выступить в качестве гида Матисса в поездках, доставлявших им обоим такое удовольствие. — Я продолжаю отдавать почти все свободное время Матиссу, который все больше и больше меня к себе привлекает". Вместе с Остроуховым Матисс побывал в Успен-

Франция оценила заслуги Делекторской по достоинству. Французское гражданство она получила с формулировкой «За заслуги перед культурой Франции».

Ирина Александровна Антонова, директор Государственного музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве (ГМИИ) в 1961—2013 годах, близко знавшая Лидию Николаевну, говорила, что она была редчайшим типом высокого идеалиста. Будучи русской, вырванной историей из привычной почвы, она сохранила привязанность к России и хотела, чтобы её родина разделила восторг перед гением Матисса.

Вспоминает Василий Николаевич Окулов, работавший в посольстве СССР во Франции в 1954—1959 годах в качестве атташе по культуре:

«В посольство “на огонёк” частенько заходила эмигрантка “первой волны” Лидия Николаевна Делекторская. Она привлекала внимание и уважение к себе своей неброской чисто русской красотой, умением легко сходиться с людьми, природным тактом в общении. <...>

Однажды Лидия Николаевна пришла в посольство с подарком. Она принесла и вручила нам два полотна Матисса

ском соборе, Патриаршей ризнице и Новодевичьем монастыре с его позолоченными куполами и вознесшейся над Москвой-рекой колокольней. Они рассматривали иконы в Иверской часовне, слушали Синодальный хор, съездили на автомобиле к старообрядцам на Рогожское кладбище и в Никольский Единоверческий монастырь, побывали в редко посещавшихся старообрядческих молельнях.

“Вот где настоящий источник всех творческих поисков, — говорил Матисс об иконах, виденных в московских церквях. — Русские и не подозревают, какими художественными богатствами они владеют... Нигде мне не приходилось видеть столько выявленного чувства мистического настроения, иногда религиозного страха... Такого богатства красок, такой чистоты их, непосредственности в передаче я нигде не видел». Даже Щукин не предполагал, что Матисс так проникнется древнерусским искусством, но это лишь подтвердило правильность его выбора. Среди множества художников, которых собирал Щукин, личная дружба связывала его только с Матиссом. У него одного он покупал картины прямо в мастерской, ему одному давал заказы: “Матисс для меня выше, лучше и ближе всех... Ведь у него праздник, ликование красок...”» (*Сперлинг Хилари.* Матисс. URL: https://coollib.com/b/317815-hilari-sperling-matiss/read (дата обращения: 12 июня 2023).

с просьбой отправить их в Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. При этом поставила условие: о её подарке не должно быть никаких публикаций в прессе и сообщений по радио или телевидению. Иначе у нее могут возникнуть неприятности с родственниками Матисса и даже с французскими властями. Мы твердо гарантировал конфиденциальность "операции". В Москву вместе с картинами было направлено письмо, в котором четко излагалась просьба Делекторской. Каково же было наше удивление, когда в одном из номеров "Огонька" мы прочитали статью о пополнении коллекций советских музеев. В ней, в качестве примера, рассказывалось о подарке "русской патриотки" Делекторской, живущей во Франции, полотен Матисса.

Родственники Матисса устроили Лидии Николаевне скандал, а мы не могли от стыда смотреть ей в глаза и были благодарны, что она зла на нас не затаила и дружбы своей не лишила. Несмотря на этот казус, она и позже совершенно безвозмездно передавала через посольство в музеи СССР работы Матисса, которые он дарил ей в дни рождения и по другим поводам».[2]

В документальном фильме Олеси Фокиной «Лидия Д.» приводится рассказ очевидца своеобразной сцены, которой он был свидетелем. На приеме в посольстве СССР во Франции советский посол подошел к Лидии Николаевне и сказал, указывая на нее своему спутнику: «Вот женщина, которая подарила нам миллионы!» Лидия Николаевна густо покраснела и резко ответила: «Не вам! России!» Для неё творчество Анри Матисса не оценивалось в денежном эквиваленте. Она сделала бесценный подарок своему Отечеству, надеясь, что творчество художника, которого некогда оценили по достоинству русские коллекционеры Щукин и Морозов, оценят и современники в Москве и Ленинграде. По словам Даниила Гранина, с которым Лидия Николаевна дружила и переписывалась, «она верила в непобедимую силу гения Анри Матисса», и она оказалась права!

[2] *Окулов В. Н.* Лидия Делекторская и Матисс // Явка до востребования. М., 2013. Цит. по: URL: https://biography.wikireading.ru/126158 (дата обращения: 12 июня 2023).

В 1932 году, 22-летней молодой женщиной Лидия Делекторская вошла впервые в дом Анри Матисса. В ноябре 1954 года, сразу после его смерти, «мадам Лидия», как ее все называли, покинула дом художника. Ей было 44 года. Почти столько же ей доведётся прожить без него, неся в себе память и боль, отныне ставшие фоном ее жизни. За все эти годы постоянной заботы, ставшей для неё смыслом жизни, она получала в ответ знаки внимания гения, который умел это выражать с прелестной французской насмешливой грацией. В коллекциях Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина хранятся шутливые записки Матисса, адресованные Лидии, с рисунками, интимными надписями, где видны нежность и благодарность, которые он чувствовал к ней: «Кто Вас не полюбит? Только тот, кто Вас не знает», «Мадам Лидия — ангел, иногда настоящий. Я в этом уверен», «Когда Лидия Делекторская приближается, я исцелён. Когда Лидия Делекторская удаляется, я обессилен. Боже милостивый, не действует ли это то, что называют “славянским шармом”? Матисс». Понятно, что за долгие годы их взаимодействия художник подсадил Лидию на иглу своего обожания, какие бы грозы иногда между ними не случались. И вот всё оборвалось. И женщина, привыкшая к высокому градусу отношений и потребности быть нужной, вдруг выпала в пустоту, где ей оставались лишь воспоминания и боль утраты.

И Лидия ищет возможность эту боль притупить, а время заполнить. Она поступает на службу в издательство, занимающееся изобразительным искусством. В 1956 году, в сентябре, узнав, что в Париж приезжает делегация советских писателей, среди которых будет Константин Паустовский, чьим творчеством она восхищалась, решает с ним познакомиться. В «Европейском дневнике» писатель скупо записал историю знакомства:

«На Монмартр. Путаница бульваров. Отель “Сентраль Манти”. Против “Фоли Бержер”. Домашняя маленькая гостиница. Красивая пожилая хозяйка-парижанка. Портье-малаец.

Комната. Гладиолусы. Валики вместо подушек. Очень старый дом. Крохотные ванные и уборные. За окнами — ряды мансард. <...>

После обеда в Лувр. В вестибюле гостиницы – знакомство с двумя русскими женщинами. Лидия Николаевна Делекторская и её двоюродная сестра. Работницы издательства. Автографы. Наши новые гиды (гид – студент Сорбонны в рваном пиджаке, русский, очень милый). <...>

В сквере около Лувра. Снимались с Делекторской и ее сестрой. <...>

К Лидии Николаевне на такси. (Катерли, Рахманов, Гранин и я.) Бульвар Пале Рояль. Окна в Люксембургский сад. Чудесная квартира. Секретарша Матисса. Его полотна и рисунки. Книги. Два кота. Воздух осени из сада».

Позднее, в 1959 году, Паустовский уже развёрнуто расскажет об этих событиях в рассказе «Мимолетный Париж»:

«Однажды в нашу гостиницу на Монмартре пришли две элегантные женщины.

Они попросили вызвать вниз, в маленький холл, где шотландец, обливаясь потом, доигрывал партию в карты с богомольной уборщицей, двух советских писателей: Гранина и меня. <...>

Мы спустились в холл по лестнице <...>

Навстречу нам встали две русские женщины. Они обе были воплощением изящного смущения. Женщины оказались эмигрантками, двоюродными сестрами, увезёнными из Томска в трёхлетнем[3] возрасте, давно уже получившими советские паспорта, сотрудницами парижского издательства, выпускающего книги по искусству.

Из газет они узнали о приезде русских писателей и пришли попросить автографы на наших книгах.

Обе женщины, особенно старшая, Лидия Николаевна Делекторская, прекрасно говорили по-русски. Их русский язык был чист, певуч, и это обстоятельство первое время нас несколько стесняло. Мы отвыкли от такого языка. Он нам казался излишне мелодичным. Говорить так мы уже не умели.

В тот день Лидия Николаевна стала помощницей нашего гида. Она превосходно знала Париж и всюду ездила с нами. <...>

[3] Л. Н. Делекторская вывезена в Харбин в возрасте 13 лет в 1923 году.

В этот вечер мы уезжали из Парижа. Один из нас вскользь сказал, что мы многое видели во Франции, но так и не успели посмотреть, как живет обыкновенный француз.

— Я примерно так и живу, — сказала, помолчав, Лидия Николаевна и позвала нас к себе. — За исключением одного обстоятельства.

Мы взяли такси и понеслись по бульварам мимо церкви Мадлен с ее знакомой по рисункам колоннадой, мимо здания Гранд Опера, похожего на торт с завитками из окаменелого крема, через мосты, в сиянии перебегающих с места на место и все время отстающих огней, по обочине Люксембургского сада, дохнувшего в окна перегретой машины холодком шумящей листвы, и наконец остановились у обычного парижского дома с узкой лестницей и молодой консьержкой. Она тотчас же ввинтилась в нас своими пронзительными глазками.

В маленькой квартире комнаты были расположены на разных уровнях. Все окна, когда мы вошли, оказались распахнутыми настежь, хотя в квартире никого не было, кроме чёрного кота. Оказывается, окна не закрывались все лето.

По комнатам бродил теплый ветер.

Лидия Николаевна щёлкнула выключателем. Вспыхнула люстра, и я невольно вскрикнул: комнаты были увешаны великолепными холстами, написанными смело и ярко, как то и подобает большому, хотя и неизвестному мастеру.

Среди холстов было несколько портретов Лидии Николаевны с надписью по-французски: “Lidia”.

— Что это?! — спросил один из нас. — Что это такое?

Лидия Николаевна молча расставляла на столе бокалы вокруг бутылки тёмного вина. По легкому звону задетых невзначай бокалов можно было догадаться, что она взволнована и не отвечает, чтобы не выдать своего волнения.

Я подошёл к картинам и на каждой в правом углу увидел небрежную подпись чёрной краской: “Матисс”.

— Дело в том, — сказала наконец с усилием Лидия Николаевна, — что я была в течение более чем двадцати лет очень близким Матиссу человеком, его секретаршей и помощницей. Он умер у меня на руках. Эти картины он подарил мне. Часть из них я отослала в дар Эрмитажу. Остальные после

моей смерти будут национальной собственностью. Какой человек был Матисс, я рассказать не могу. Нечего даже и пытаться. Лучше выпьем на прощание вина.

Я не мог отвести глаз от картин на стенах. Присутствие картин Матисса на стенах и своё присутствие среди них я ощущал, как некий новый, только что начавшийся праздник. Был ещё неизвестен праздничный распорядок и незнакомы его традиции, но это был явный праздник открытия нового живописного мира».[4]

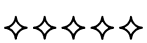
Лидия Николаевна Делекторская, благодаря встрече 1956 года, начнёт для себя новую жизнь, связанную с переводческой работой. К этому времени она уже отлично знала французский язык. Этому помог Матисс, развивая и обучая Лидию. Творчество Паустовского возвратило ей ощущение России, её природы, её лирики. Она взяла себе псевдоним «Лидия Дельт», как бы отделяющий этот новый этап жизни от прошлого. В письме к Паустовскому в феврале 1958 года она говорит: «...я нахожу мой венчик слишком позолоченным, преувеличенным, я и живу дикарём: людям непонятно, что моя жизнь не была “самоотверженностью”, как она не была и гонкой за славой, — она мне просто-напросто подходила. И теперь избранная мной почти всегда отшельническая жизнь мне по душе — многолетняя привычка. И в ней увлеченную работу около Матисса я заменила переводами К. Г. Паустовского. Нельзя же жить без кипения!» Тридцать лет она отдала переводам собрания сочинений Паустовского, уговорила издательство «Галлимар» бесплатно разослать все 13 томов во все публичные библиотеки предместий Парижа. Приезжала в Россию неоднократно для встреч с писателем и обсуждения разных тонкостей перевода, привозила Паустовскому лекарства от астмы. Она была очень внимательна к людям, с которыми общалась, старалась помочь. За свой счет принимала советских искусствоведов в Париже, возила по местам Матисса. Помогала Луи Арагону, когда он создавал свой ро-

[4] *Паустовский К. Г.* Мимолетный Париж. Цит. по: URL: https://traumlibrary.ru/book/paustovskiy-ss08-08/paustovskiy-ss08-08.html#s00201467 (дата обращения: 12 июня 2023).

ман о Матиссе (об этом она сообщает в письме Даниилу Гранину, с которым дружила и переписывалась).[5] Сама же Лидия Николаевна жила очень скромно, одевалась почти бедно, вспоминают знавшие ее люди. Это вызывало удивление, ведь достаточно было продать одну работу Матисса... Но она все картины, рисунки, свои наряды и украшения, в которых позировала художнику, всё передала в музеи. Она любила Россию и всё, что имела драгоценного для себя, отдала. Когда ее спрашивали, не нужна ли ей помощь, она отвечала: «Когда мне понадобится помощь, я уйду к своему патрону». И ушла...

По её завещанию, урна с прахом Лидии Николаевны Делекторской была привезена в Россию и похоронена на тихом кладбище Павловска под Петербургом. Урну, как она просила, обернули в белую рубашку Анри Матисса.

Если пройти от ворот кладбища по 5-й дорожке, то слева можно увидеть памятник, установленный родственниками Лидии Делекторской, на котором вырезано повторение знаменитого рисунка Матисса с портретом Лидии Николаевны, выбита фраза Пабло Пикассо: «Матисс сохранил её красоту для вечности» и определено её место рядом с художником: «Муза. Друг. Секретарь Анри Матисса».[6]



[5] Анри Матисс и Луи Арагон познакомились в 1940 году, дружили до конца дней. После смерти художника Арагон посвятил ему свою книгу «Анри Матисс, роман». Лидия Делекторская по-дружески называет Луи Арагона в письме к Д. Гранину «Арагоша».

[6] Лидия Д. Документальный фильм. Реж. О. Фокина Россия, 2010; Лидия Дельт. Вдохновленная словом (К 110-летию со дня рождения Лидии Николаевны Делекторской). URL: https://paustovsky.museum-online.moscow/entity/EXHIBITION/3583466?index=0 (дата обращения: 12 июня 2023).

М. Д. Чернышева-Гранина

ЭМИГРАНТКА

Путешествие на теплоходе 1956 года сыграло большую роль в жизни моего отца. Первое путешествие за границу, он увидел Париж, который знал по картам 1871 года. Коммуна, которой он бредил, Домбровский, его любимый герой. Как и любое первое путешествие, оно было полно открытий: не надо снимать, больше никогда не брал с собой фотоаппарат, не надо торопиться увидеть как можно больше.

Однако особенно важной для его творчества оказалась встреча с Лидией Николаевной Делекторской. Это была первая встреча с эмиграцией. Поразил ее язык – красивый, певучий. Другие слова, другие интонации. Её память, её странная любовь к стране, из которой она уехала в десять лет. Переписка с ней, история ее жизни, она оставалась загадкой, которую все русские, встречавшиеся с ней, пытались разгадать.

В одном из писем к отцу она рассказывает, что раздает свои переводы, чтобы вызвать интерес французов к российской литературе. Интересно, что ее внимание привлекла папина книга «В нашем городе». Она издана в 1958 году. Маленькая, с не слишком качественными фотографиями, непостижимым образом пропитанная счастьем победы, счастьем мирной жизни. И трогательно её желание привлечь этим французов, не переживших ничего подобного ленинградской блокаде.

Из переписки Л. Н. Рахманова с Л. Н. Делекторской[1]

Письмо от января 1960 года

В предыдущем письме Лидия Николаевна рассказывает о спектакле МХАТА по пьесе Рахманова «Беспокойная ста-

[1] Публикуется с разрешения Н. Л. Рахмановой.

рость». Понравилась пьеса, актёры. Подробно описывает свои впечатления прямо по действиям, что очень важно для автора. Но мне показался интересным отрывок об особенностях заграничного зрителя.

«...заграница буржуазная, та, в которой я живу. В этой загранице русская революция так далека и по событиям, и по ее цели, и по ее необходимости, как оно станет ещё через сто лет. И тонкость русского человека в чувствах, в переживаниях и выражении их не доступна пониманию людей Запада. Русский здесь прежде всего kazak, немножко дикое племя, необузданное, сумасбродное. К этому прибавляется то, что называют "славянская душа", переводимая здесь как бесшабашность, доброта, расточительность, недостаток эгоизма, вроде придурковатости. Русского любят, но снисходительно и с опаской, как существо, не соответствующее никакой логике. И настолько непонятное, что нет смысла пытаться его понять. Отношение это всеобщее. Есть исключения, но они до невероятного редки и в народе, и у интеллигенции».

Отрывок из письма Л. Н. Делекторской Л. Н. Рахманову, январь 1972 года

«Кончила быть "девочкой на побегушках" у Арагона по поводу его книги о Матиссе. Вышли уже книжки Паустовского 9-я, в наборе 10-я, хотим успеть к его 80-летию. Здесь ведь каждая вещь издается поодиночке (имеется в виду, что не собрание сочинений). Случайно перевела "До свидания, мальчики" Балтера. Вышло тоже сейчас. Не знаю, как французские читатели примут. Их ведь вообще для советской литературы кот наплакал. Очень самодовольная страна. Литературная голова страшно требовательна ко всему заграничному. Да и у себя нужно, чтобы была "новинка". А в остальных миллионах даже те, кто считается интеллигенцией, дальше Бельгии ничего не понимают. Впечатление, что образование строго очерчено границей Франции. Любознательности никакой и даже просто любопытства. И уж очень мало люди читают».

Отрывок из письма Л. Н. Рахманова Л. Н. Делекторской, январь 1972 года

«Вы – молодчина! Перевели уже 11 книг К. Г. Паустовского, “пыхтите” над 12. Это большое дело. Видите, как повернулась Ваша судьба после встречи с нами в 56 году. Горжусь, что был очевидцем, свидетелем этого знакомства. Подумать только, прошло 15 лет со дня нашей встречи! Страшно сказать, все мы стали старше на 15 лет, а Константин Георгиевича уже нет на свете».

✧✧✧✧✧

И. А. Снеговая

ЛИДИЯ ДЕЛЕКТОРСКАЯ — ПРОТОТИП ЛИЗЫ КИСЛЫХ, ОДНОЙ ИЗ ГЕРОИНЬ РОМАНА Д. ГРАНИНА «КАРТИНА»

При обсуждении романа «Картина» в городе Кировске в 1980 году Даниил Гранин сказал: «У Астахова, художника, прямых прототипов не было. <...> А для Лизы Кислых в какой-то мере был прототип. Давно уже, будучи в Париже с Константином Георгиевичем Паустовским, мы познакомились <...> с Лидией Николаевной Делекторской. Это женщина, которая была близким человеком художника Матисса. Русская наша женщина, прелестный человек. Она подарила многие картины Эрмитажу и московским музеям.

Судьба этого человека, многое в ее характере, многое в ее понимании, отношении к искусству поразило меня. Я с ней продолжаю видеться, встречаться. Она приезжает сюда. И это помогло мне понять, что такое судьба Лизы Кислых».[1]

Писатель вспоминает встречу 1956 года, когда он в составе писательской группы, впервые выехавшей за рубеж на теплоходе «Победа», оказался в Париже, где и познакомился с Л. Н. Делекторской, пришедшей вместе с двоюродной сестрой встретиться с Константином Паустовским, творчество которого она знала и любила. Существует фотография, сделанная сестрой Лидии Николаевны, где рядом с ней на скамейке сидят Даниил Гранин, Константин Паустовский, Елена Катерли, Леонид Рахманов. Сияющий парижский день, все счастливы, полны впечатлений. Фотография живо запечатлела настроение момента — ощущение оптимизма и надежды, которое дарило время середины 1950-х годов.

Познакомившись с Лидией Делекторской как с сотрудницей издательства, писатели были поражены, когда она пригласила их к себе домой. Оказалось, что ее маленькая

[1] Писатель и современность. Даниил Гранин. «Картина». 1980 // URL: https://www.youtube.com/watch?v=ByReOvgPoGE (дата обращения: 12 июня 2023).

квартира была сплошь увешана яркими картинами Анри Матисса. Тогда-то ее гости и узнали о поразительной судьбе хозяйки, которая в течение 22 лет была музой, натурщицей и подругой одного из крупнейших художников Франции, Анри Матисса, возле которого, по ее словам, она «из девчонки выросла в человека» (из письма к К. Г. Паустовскому, 1959–1960?).

Лидия родилась в Сибири, была дочерью врача и мечтала стать врачом, но события революции лишили ее этих надежд. Оказавшись ещё девочкой в Харбине, а потом в Париже и Ницце в роли безработной русской эмигрантки, слабо знакомой с языком, без средств и без поддержки, она случайно нашла место помощницы художника, которым оказался незнакомый ей Анри Матисс. Далекая от искусства, она не подозревала о значительности этой встречи. Но постепенно, благодаря влиянию художника, влиянию его творчества, она воспитала в себе художественный вкус и в итоге стала одним из влиятельных знатоков искусства Матисса. Когда она пришла в дом художника, ей было 22 года. Она стала помощницей, потом натурщицей, потом музой и любовью человека значительно ее старше, который захватил ее воображение масштабом личности и той магией, которой обладает искусство. Но более, быть может, ее несостоявшееся призвание врача, предназначение к служению людям и широта души определили ее место рядом с Матиссом, которому вскоре уже она сама давала и помощь, и утешение, и вдохновение. В тяжело больного человека она вдыхала жизнь, и он был ей за это благодарен. Называл «светом своих очей» и «ангелом», хотя умел и капризничать, и огорчать, как истинный художник. То взаимное обожание, которое существовало между ними, создавало неповторимый фон отношений, питавший этот поразительный союз в течение более 20 лет и не завершившийся со смертью художника. Лидия как будто продолжала чувствовать его присутствие и влияние на свою жизнь. Недаром она просила похоронить вместе с ней белую шелковую сорочку Матисса, что и было исполнено. В сюжете этих отношений нетрудно увидеть отблеск мифа о вечных парах, воспетых культурой, и неудивительно, что эта история могла

взволновать воображение любого писателя. Даниил Гранин вспоминает в «Поступках любви»: «Паустовский был блестящим рассказчиком, я имею в виду не только написанное им, но и его устные рассказы. Я мог слушать его часами, и он мог рассказывать часами. <...> Из рассказа Лидии Николаевны он создал прелестную повесть о любви великого художника и великой женщины, но, к сожалению, так и не написал её. А я не посмел записать — не моя».

Из собственного признания писателя в 1980 году мы видим, что он всё же воспользовался этими впечатлениями и для своего творчества.

В романе «Картина» Лиза Кислых занимает особое место. О ней говорят другие персонажи романа, но она появляется в повествовании лишь один раз — в качестве автора письма художнику Алексею Астахову. Это письмо позволяет читателю узнать, почувствовать героиню, ставшую любовью двух выдающихся героев романа — Алексея Астахова и Юрия Поливанова, двух антиподов, чей конфликт, спровоцированный их чувствами к Лизе, определяет сюжет романа в 1930-е годы и, в конечном итоге, изменяет судьбу главного героя Сергея Лосева уже в 1970-х. Так прошлое влияет на настоящее, хотя человек может этого никогда и не узнать. Благодаря такому литературному приему Лиза Кислых остается для читателя долго ожидаемой тайной, так и не открытой до конца. Только очень внимательный читатель сможет связать между собой события двух временны́х пластов романа, чтобы увидеть параллели, которые оставил нам писатель в качестве возможной подсказки.

Колесо истории прошлось по судьбам Лизы и Алексея, навсегда разлучив героев, но не сумев убить чувство, которое их связало. Даже письма их разошлись во времени. Из контекста письма Лизы ясно, что писем Астахова она так и не получила. Но чувство, которое пронизывает письмо, сердечность и печаль, не угасшие со временем, позволяют нам полагать, что, отсутствуя физически в жизни Лизы, Астахов навсегда остался с ней в портрете, который написал для неё. Заканчивая письмо, она говорит: «...я в этом портрете вижу Вас, и люди, которые смотрят, они больше говорят о Вас, они

тоже Вас видят во мне. <...> Странно, что ныне Вы больше значите для меня, чем когда Вы были рядом».

Описывая Лидию Делекторскую, в которую, как и в Лизу в романе, «все были влюблены», писатель замечает: «Она привлекала к себе душевностью и какой-то особой деликатной сердечностью. В ней соединялись русская интеллигентность и французская изысканность».[2]

Лидия Делекторская несла в себе свет и обаяние утраченной русской жизни, которые действовали неотразимо на людей, выросших в иной среде, с иными ценностными ориентирами. Из переписки Константина Паустовского с Лидией Николаевной видно, что и годы спустя после знакомства участники встречи с нежностью вспоминали её. Паустовский пишет Делекторской 9 сентября 1959 года: «Редко вижу Гранина и Рахманова. Встречаясь, всегда вспоминаем Вас»; 11 февраля 1961 года: «Ноябрь я провёл в Ленинграде, пришлось много выступать. Какой это великолепный, полупрозрачный, торжественный город. Ездил в Ленинград на "Блоковские дни", т. е. на дни, посвященные Александру Блоку. <...> В Ленинграде Гранин устроил торжественный ужин. На нем, кроме меня, из "парижан" был Рахманов. Пили за Ваше здоровье. Все Вас вспоминают с умилением».

В эти годы Л. Н. Делекторская под псевдонимом «Лидия Дельт» стала переводить произведения К. Г. Паустовского для французского читателя. Позднее она с гордостью говорила: «Я подарила Франции Паустовского, а России Матисса». Эта работа дала ей жизненный стимул, то «горение», по ее выражению, без которого нельзя жить. Проза Паустовского напоминала ей о России, о людях и природе страны, которую она любила по детским воспоминаниям. Паустовский был тоже из «той», утраченной жизни, если не по сюжетам, то по интонации. Интересно, что и Даниил Гранин признавался в «Чужом дневнике», где он вспоминает о том памятном путешествии на «Победе» и комментирует «Европейский дневник» Паустовского, в юношеском увлечении прозой этого писателя. «Не помню, как я познакомился с Паустовским.

[2] *Даниил Гранин.* Поступки любви // Даниил Гранин. Причуды моей памяти.

Это было до поездки. Наверное, это не отпечаталось потому, что я знал его раньше, много раньше, чем увидел. В школе я зачитывался его книгами “Блистающие облака” и “Романтики”. Барочная пышность языка и сладостный ритм фраз завораживали меня. Герои разговаривали так, что щемило сердце. От его описаний деревья, облака, женщины, пение птиц, шелест страниц чувствовались свежее, становились загадочнее. <...> Теперь так не пишут. Чтобы так писать, нужны чувствительность и неутомимое удивление перед таинством происходящего. <...> В “Романтиках” есть глава “Ночная встреча”. Я знал её наизусть. Я сказал об этом Паустовскому. Он хмыкнул: “Не вздумайте произносить её вслух; это, наверно, приторно, как сахарин”. Я никогда не перечитывал “Романтиков”. Зачем? Зачем обесценивать те часы счастья и мечтаний, какие получил от этой книги в юности?» Комментируя «Европейский дневник» Паустовского, сверяя свои воспоминания о путешествии с записями «чужого» дневника почти 30 лет спустя, Даниил Гранин словно встречает себя прошлого, того, кто впервые обрел широту мира, молодую остроту впечатлений, столь необходимую творческому человеку. Наблюдая Паустовского, жадно слушая его рассказы, молодой писатель как бы внутренне вырастал, умея вынести важные уроки из этого общения. Недаром он охотно согласился в следующем, 1957 году поехать в Дубулты, в Дом творчества под Ригой, зная, что там будет Паустовский.

Эмилий Миндлин, писатель, в своих воспоминаниях «Добрый художник» пишет: «В феврале 1957 года Паустовский собрался в Дубулты. Год назад он был в Риге и на Рижском взморье, и тихие Дубулты очаровали его. Он много раз повторял, что нигде так хорошо не работается, как в Дубултах.

— Едемте, — говорил Паустовский. — В это время года там изумительно.

Билет он уже заказал. Выехать вместе не удалось. Я выехал на другой день после него.

В те времена литфондовский Дом творчества писателей в Дубултах — это шесть или семь многокомнатных двухэтаж-

ных особнячков в обширном парке на дюнах, над песчаным берегом моря. Когда-то все эти дачи принадлежали разным владельцам. Литфонд скупил их и несколько живописных участков объединил в общий зеленый парк.

У каждого особнячка свое прозвище, — “белый”, “охотничий”, “шведский”, “дом у фонтана” и уж не помню какие ещё.

Зимой, в малолюдье, заселяются только два или три из этих особнячков, остальные заколочены до начала позднего прибалтийского лета.

Паустовский уже озаботился о моём месте в столовой — зарезервировал его за столиком, отведенным ему и писателю Гранину.

О Данииле Гранине он с места в карьер предупредил:

— Изумительный человек!

С Граниным он сдружился ещё во время совместного путешествия на “Победе” вокруг Европы. <...>

Как-то мы устроили вечеринку в комнате Паустовского: шесть-семь человек пили коньяк под дьявольски вкусную рыбку копчушку — неизменное прибалтийское лакомство.

Паустовский рассказывал о Гайдаре, потом вспоминал Одессу и, наконец, перешел к сценам из “гранинианы” — рассказам о Гранине за границей.

Полный юмора и энергии, Даниил Гранин не скрывал и даже подчеркивал свою любовь и уважение к Паустовскому. Он слушал его рассказы с видимым удовольствием, даже когда Паустовский дружески подшучивал над ним.

Несколько месяцев спустя, уже живя в Ялте и вспоминая там нашу жизнь в Дубултах, он писал мне в Москву:

“Как мне не хватает Дубултов, разговоров с Вами, снежного моря, лукавых глаз Гранина”».

В письме от 17 февраля 1958 года в Париж Паустовский описывает Лидии Николаевне события в Дубултах годичной давности. «В марте прошлого года я жил в нашем доме творчества под Ригой (в Дубултах) вместе с Граниным в маленьком доме на дюнах на самом берегу Балтийского моря. Однажды поздним вечером Гранин пришел ко мне и прочел свой рассказ “Поющий туман” — совершенно прелестный». Паустовский ошибся в названии — рассказ называется «Пе-

вучий туман». И дальше писатель добавляет: «Не выдавайте меня, но он сказал мне тогда, что написал рассказ о Вас; он мне его не читал, — стесняется». В библиографии Даниила Гранина в этот период выделяется именно лирический рассказ «Певучий туман», опубликованный в ноябре 1957 года. Рассказ немедленно получил жёсткую критику за «декадентство, мещанство и пошлость» в «Литературной газете» под редакцией В. Кочетова и тогда же заинтересовал Дмитрия Шостаковича своей интимно-исповедальной интонацией, о чём он пишет своему другу, музыковеду Исааку Гликману.[3] Рассказ о единственной встрече в приморском городке двух людей: приезжего франтоватого горожанина — москвича, от имени которого ведется повествование, и молодой местной учительницы Лаумы. Встреча, которая обернулась потрясением для сознания героя, сняв с него всю внешнюю шелуху и пробудив в нем лучшее, почти погубленное пошлостью, ощущение жизни. Рассказ, удивительный своей музыкальностью, что, видимо, сразу почувствовал Шостакович, и открывший нам совсем иного писателя Гранина, тончайшего мастера нюансов, тургеневско-бунинской интонации. Встреча разных миров, соприкосновение с чем-то искренним и глубоким, обращенным к главному в человеке, его творческому началу — важнейшая тема писателя в будущем и тема романа «Картина». Не будет ли сильным допущением считать, что именно о «Певучем тумане» как написанном о встрече, поразившей автора, шла речь в разговоре с Паустовским? Побудительным толчком к этому вполне могла послужить встреча с Лидией Делекторской, ее жизненная история, о чем просто неудобно было сказать тогда, учитывая юношескую привязанность Гранина к главе из «Романтиков» Паустовского, где речь идет о внезапной, поразившей героя «Ночной встрече», несостоявшейся, прошедшей мимо любви. И рассказ «Певучий туман» с его поэтическим преображением человека через пробуждение его творческого начала это допущение делает весьма вероятным.

---

[3] Письма к другу: Письма Д. Д. Шостаковича к И. Д. Гликману / Сост. и коммент. И. Д. Гликмана. М.; СПб., 1993.

Роман «Картина» показывает нам целую палитру разнообразных человеческих связей, включающих и дружеские, семейные, любовные отношения, характеризующие время и обусловленные временем. Композиционной «рамой» произведения, если можно так выразиться, становятся две истории, связанные между собой даже не сюжетно, а содержащимся в обоих эпизодах нравственным смыслом. Это встреча Сергея Лосева с Ольгой Серафимовной, вдовой художника Астахова, в начале романа и письмо Лизы Кислых Алексею Астахову почти в финале произведения. Из рассказа вдовы художника мы узнаем, что она прожила с ним всего десять лет, а достался он ей уже рано состарившимся больным человеком. Причину его состояния мы из романа узнаем позднее. Его враг, комиссар Юрий Поливанов, стал причиной несчастий художника в конце 1930-х годов. Донос Поливанова из-за страсти к Лизе Кислых, прикрытый идейными причинами, привел к последствиям, которые сократили Астахову жизнь. Письмо Лизы, написанное в начале 1960-х годов (в письме упоминается смерть Веры Буниной в 1961 году), уже не застало его в живых. Обе женщины любили Астахова, каждая по-своему благодарно помнила о нем и способствовала сохранению его художественного наследия. Ольга Астахова спасла картины во время эвакуации, хотя «понятия не имела, что они значат». А Лиза Кислых отдала драгоценный для нее портрет в музей: «эгоистично скрывать его от глаз людских. Расставание было нелегким». Так благодарная любовь, возвышая души, просветляет, обогащает и преображает мир.

Даниил Гранин познакомился с Лидией Делекторской в 1956 году. Он вспоминает, что встречался с ней позднее в Париже (есть фотография их обоих на кладбище Сен-Женевьев возле могилы Бунина) и в России во время ее приездов. Они переписывались несколько десятилетий. К счастью, в архиве семьи писателя сохранились некоторые письма и открытки Лидии Делекторской, в которых ясно читается искреннее дружеское чувство, которое их связывало, ее симпатия к семье писателя и та отличавшая, видимо, Лидию Николаевну при личном общении ласковость, щедрость чувств,

так привлекавшая к ней сердца. Знакомство, общение, переписка, общий стиль поведения Лидии Делекторской и ее исключительная судьба — все эти впечатления, переосмысленные художественным воображением писателя, и отразились в романе «Картина».

✧✧✧✧✧

М. Я. Мурина

ОНА ПОДАРИЛА РОССИИ МАТИССА, А ФРАНЦИИ — ПАУСТОВСКОГО[1]

Я принадлежу к вымирающему племени читателей «толстых» журналов, особенно люблю «Звезду» и «Знамя». Однажды, читая в «Звезде» записки Даниила Александровича Гранина, я узнала, что он не обнаружил на кладбище Сент-Женевьев де Буа во Франции даты захоронения своей скончавшейся давней знакомой Лидии Николаевны Делекторской и, естественно, очень опечалился. Дело в том, что однажды Лидия Николаевна показала Д. А. Гранину купленный ею участок на кладбище с установленным надгробьем и выбитой на нём датой рождения.

Я незамедлительно позвонила своей подруге Наталье Владимировне Богдановой,[2] попросив её сообщить Д. А. Гранину о месте упокоения Л. Н. Делекторской. А теперь обо всём по порядку.

Лидия Николаевна родилась в 1910 году в Томске в семье врача. После смерти родителей тётя забрала её в Харбин, откуда она в 1929 году перебралась в Париж, не имея там ни родных, ни близких и не зная языка. В поисках работы по объявлению устроилась в помощницы к Анри Матиссу, который в это время создавал знаменитый «Танец», а впоследствии была приглашена им сиделкой к больной жене. Как-то, увидев в Лидии Николаевне интересную модель, А. Матисс попросил её позировать. Так начиная с 1932 года и до смерти А. Матисса Лидия Николаевна в течение 22 лет была его моделью, музой, помощницей и подругой.

Чтобы обеспечить её после своей смерти, А. Матисс дважды в год дарил Лидии Николаевне свои работы, прекрасно

---

[1] *Мурина М. Я.* О Делекторской // Русские страницы: Литературный альманах. Приложение к журналу «Философская культура». 2017. С. 115–117.

[2] *Наталья Владимировна Богданова*, племянница Л. Н. Делекторской.

понимая их стоимость. Но она поступила с этим богатством совсем иным образом. Лидия Николаевна очень скучала по России, любила её, но, увы, безответной любовью. Несмотря на её неоднократные обращения и просьбы именитых друзей, советского гражданства она так и не получила.

Однако, как только появилась возможность, Лидия Николаевна по приглашению Константина Георгиевича Паустовского стала бывать на родине и подружилась с Ириной Александровной Антоновой и Борисом Борисовичем Пиотровским. Ежегодно она привозила и дарила работы А. Матисса Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина и Эрмитажу. Только Эрмитажу Лидия Николаевна подарила около 200 работ.

В нашем городе ей удалось найти родных: тётю и двоюродную сестру Валентину Николаевну Софронову, мачеху моей подруги Н. В. Богдановой. Все они стали очень близки, Лидия Николаевна гостила у них, бывала и на их даче в Павловске, где на семейном кладбище были захоронены тётя Лидии Николаевны, а потом и В. Н. Софронова. Видя, что ставшие ей родными и близкими люди преданно ухаживают за этим местом, Лидия Николаевна попросила Наташу захоронить и её прах на этом семейном кладбище. В 1998 году Наташа вместе с сотрудниками Эрмитажа захоронили прах Лидии Николаевны, установив скромное надгробье, соответствующее материальным возможностям семьи.

Спустя несколько лет Наташе позвонил журналист газеты «Магаданская правда» Михаил Александрович Ильвес, который попросил позволения на деньги «Клуба почитателей Л. Н. Делекторской» сделать памятник, более соответствующий её заслугам, с надписью: «Её красоту Матисс сохранил для вечности». Когда стали набивать новый рисунок, камень треснул, но за его замену мастер-камнерез отказался брать деньги, ибо он оказался выпускником Академии художеств и тоже поклонником А. Матисса. Сейчас при входе на кладбище есть указатель местоположения могилы Лидии Николаевны, как человека известного и почитаемого.

Несколько лет назад в Эрмитаже была чудесная и довольно большая экспозиция портретов и рисунков А. Матис-

са, изображающих Лидию Николаевну, и была выпущена прекрасная книга-каталог, так что «Никто не забыт и ничто не забыто», и это замечательно.

Ещё одна сторона личности этой дивной женщины — она не просто дружила с К. Г. Паустовским, но и перевела на французский язык полное собрание его сочинений.

Надо сказать, что Лидия Николаевна породнилась с семьёй, имеющей чудесные петербургские традиции и редкую доброжелательность. Род Н. В. Богдановой тоже немало послужил России: это Панчулидзевы, два генерала Отечественной войны 1812 года, чьи портреты украшают галерею в Эрмитаже, и генерал-губернатор Саратова, памятник которому установлен в этом городе.

После звонка Наташи Д. А. Гранин попросил её отвезти его на могилу Лидии Николаевны, что они и осуществили.

✧✧✧✧✧

Научно-популярное издание

ГРАНИНСКИЙ АЛЬМАНАХ
Выпуск 2

Компьютерная верстка: *К. С. Курбатова*
Художественное оформление: *Л. Модебадзе*

Формат $60 \times 88\,{}^{1}/_{16}$. Гарнитура Петербург.
Изд. л. 11,0. Тираж 300 экз.

E-mail: rostokbooks@yandex.ru
URL: http://www.rostokbooks.ru
По вопросам оптовых закупок
обращаться по тел.: (812) 937–98–70

ИП «Варваркин А. И.»
199155, Санкт-Петербург, ул. Уральская, д. 17, корп. 3, оф. 4